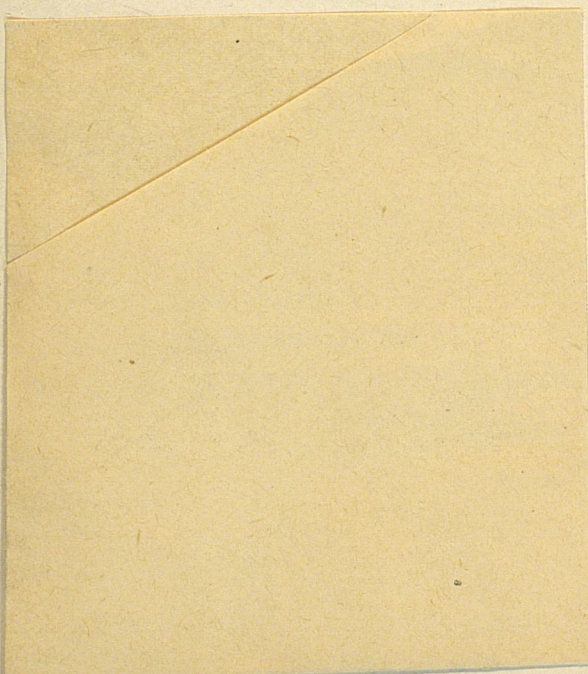
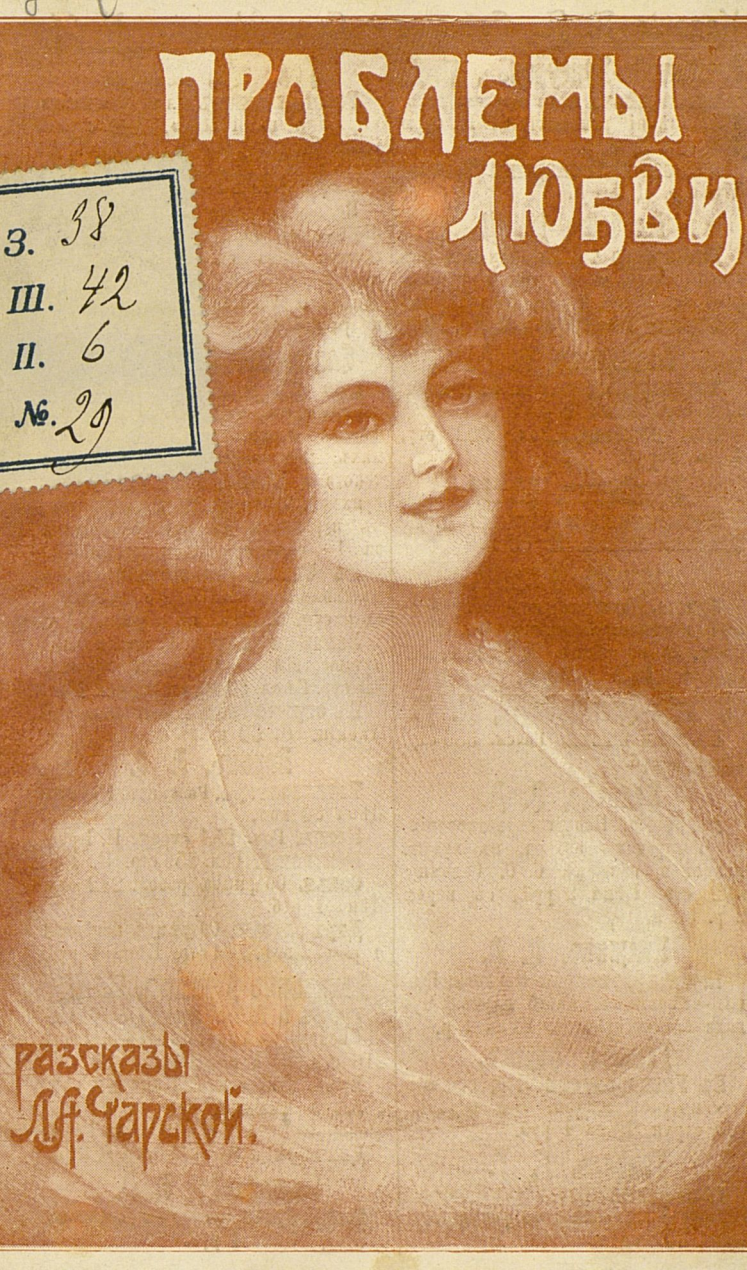
З.38
Ш. 4/2
П. 6
№ 29

Проверено 1950



ПРОБЛЕМЫ ЛЮБВИ

З. 38
Ш. 42
П. 6
№ 29



разсказы
Л. А. Чарской.

Алексѣевъ-Кунгурцевъ, Н. Н.

Три повѣсти. I. Рабы и владыки. II. Послѣдній всплескъ. III. Въ бурю 431 стр. Ц. 1 р.

Ѳедосеевскій владыка. Повѣсть. 176 стр. Ц. 50 к.

Альбовъ, М. Н.

Глафирина тайна. Эпизоды изъ жизни одной человѣческой группы. 400 стр. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Сирота. Ром. 440 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Анракcинъ, А. Д.

Тернистый путь. Ром. въ 2-хъ ч. 552 стр. Цѣна 2 р.

Кто успѣваетъ. Ром. 322 стр. Цѣна 1 руб.

Бородкинъ, М. М.

Поэтическое творчество А. Н. Майкова. 84 стр. Ц. 50 к.

Борцовъ, Георгій.

Удавы. Романъ изъ современной кавказской жизни. Въ 2 хъ част., съ предислов. В. Л. Величко. 360 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Брешко-Брешковскій, Н. Н.

Шопотъ жизни. Разск. 336 стр. Цѣна 1 руб.

Величко, В. Л.

Арабески. Новыя стихотворенія. Съ портретомъ автора, въ худож. исполнен. обложкѣ С. О. Соломко. 492 стр. Цѣна 2 руб., съ перес. 2 р. 50 к.

Волжинъ, В. А.

Наши тулуповцы. Повѣсти: Нищій-чиновникъ. Бабій клубъ. Чудакъ-благотворитель. Цѣна 1 р.

Гегидзе, Борисъ.

Въ Университетѣ. Наброски изъ студенческой жизни. 5-е изданіе. 240 стран. Цѣна 1 руб.

Генкель, Г. Г.

Боги Японіи. Популярный очеркъ вѣрованій японцевъ, съ рисунками. Цѣна 30 коп.

Голечекъ, Іосифъ.

Россія и Западъ. Глава изъ книги «Поѣздка въ Россію». 148 стран. Цѣна 75 к.

Добролюбовъ, Н. А.

Полное собраніе въ 4 том., изданіе 6-е, съ портретомъ и біографіей автора, 2400 стр. больш. фор. убор. печ. Цѣна за 4 том. 7 руб., въ переплет. 9 руб. Пересылка за 10 фун. по разстоянію.

Елисѣевъ, А. В., д-ръ.

„По Бѣлу Свѣту". Очерки и картины изъ путешествій по тремъ частямъ стараго свѣта, въ 4-хъ томахъ, 2-е изданіе. 1500 страницъ текста и 1500 оригинальныхъ рисунковъ. Цѣна за 4 тома 12 руб., въ переплетѣ 15 руб. Пересылка за 10 фунтовъ по разстоянію.

Въ Тайгѣ. Изъ воспоминаній о далекомъ Востокѣ. Изд. 2-е. 96 стран., съ рисун. Ц. 50 к., въ перепл. 75 к.

Львиныя ночи. Разсказъ изъ путешествій по Сѣверной Африкѣ. 72 стр. Цѣна 50 к., въ перепл. 75 к.

Въ странѣ гейшъ. Воспомин. объ Японіи. Ц. 50 к. въ перепл. 75 к.

Заринъ, А. Е.

Тотализаторъ. Разсказъ. 136 стр. Цѣна 50 коп.

Казнь. Ром. 254 стран. Ц. 1 руб.

Призваніе. Ром. 256 стр. Ц. 1 р.

Семья. Сборникъ разск. 242 стр. Цѣна 1 руб.

Даръ сатаны. Сборникъ повѣстей и разсказовъ. 304 стр. Цѣна 1 руб.

Захарьинъ-Якунинъ, И. Н.

Графъ В. А. Перовскій и его зимній походъ въ Хиву. Въ 2-хъ частяхъ. 216 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Хива. 206 стран. Цѣна 50 коп.

Люди темные. Очерки и разсказы. 400 стр. 2-е изд. Цѣна 1 руб.

Для народа. Разск. 80 стр. Ц. 20 к.

Измайловъ, А. А.

Рыбье слово. Повѣсти и разсказы. 308 стр. Цѣна 1 руб.

Л. А. Чарская

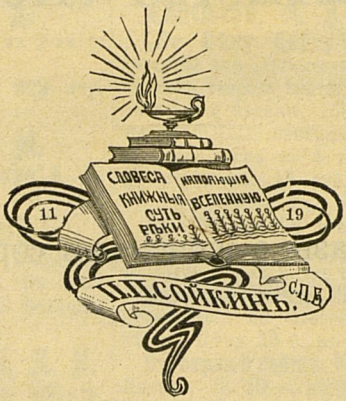
ПРОБЛЕМЫ ЛЮБВИ

Разсказы о женскомъ сердцѣ

Гос. Публичная Б-ка в Ленинграде.

Изданіе 2-е.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе П. П. Сойкина
КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
Стремянная, 12, соб. домъ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Невскій, 98, уг. Надеждинск



ДОЗВ. ЦЕНЗ. СПБ. 23 ДЕК. 1904 Г.

ТИПОГРАФІЯ П. П. СОЙКИНА, СПБ., СТРЕМЯННАЯ, 12.

Бобикъ.

I.

— Нѣтъ, нѣтъ, она не пріѣдетъ.

— Но вѣдь еще нѣтъ и девяти, Бобикъ!

— Ахъ, не пріѣдетъ она, не пріѣдетъ.

И голубые кроткіе глазки наполняются слезами.

— Опять, Бобикъ! Какъ это скучно... Ты точно дѣвочка...

Молодая блѣдная дѣвушка, лѣтъ 23—24, махнувъ досадливо рукою, отходитъ отъ окошка.

Теплый іюльскій вечеръ вливается въ комнату. Грохотъ экипажей чуть долетаетъ до сѣраго домика, утонувшаго въ зелени тѣнистаго сада. Домикъ не кажется принадлежностью Петербургской стороны, такъ хорошо окруженъ онъ большими деревьями, дающими тѣнь и прохладу. «Точно на дачѣ», — думаетъ мальчикъ, скорчившись на подоконникѣ раскрытаго окна. Это—блѣдный, некрасивый ребенокъ, малокровный и жалкій, какъ всѣ петербургскія дѣти. Только глаза мальчика голубые, чистые и мечтательные, похожіе на глаза маленькаго серафима, дѣлаютъ особенно милымъ умное и кроткое личико ребенка. Длинные, бѣлокурые волосы пада-

ютъ «по англійски» на синюю нурточку, скрывая уши и часть лба съ печатью не дѣтской затаенной думы.

Іюльскіе сумерки постепенно сгущаются, а мальчикъ все не отходитъ отъ окна. Вонъ зажглась звѣздочка... одна... другая... третья. О, сколько ихъ! Та, крайняя, всегда зажигается первая... Она самая нарядная и красивая... Бобикъ называетъ ее «мамина звѣздочка...» А та, справа, поменьше,—Татина... Тетю Тату онъ любитъ гораздо меньше мамы, и ея звѣздочка должна быть скромнѣе, меньше.

— Пора спать, Бобикъ... Ты простудишься!

Окно захлопнуто. Передъ нимъ Тата.

— Будь паинька, раздѣвайся и ложись...

— Ахъ, Тата, она не пріѣдетъ, а я такъ ждалъ ее.

— Ее задержали, — отвѣчаетъ дѣвушка и принимается расчесывать нѣжные локоны Бобика.

— Ай, больно, Тата! больно!

Бобикъ вспоминаетъ другую руку, расчесывавшую ему головку, тонкую, бѣлую, испещренную синими жилками и унизанную дорогими кольцами... И та рука пахла такъ хорошо, такими, вѣроятно, очень дорогими духами, запахъ которыхъ такъ ясно чувствуется Бобику, точно сама она здѣсь—его милая, его дорогая, нѣжная мамочка...

— Господи, спаси и сохрани маму, бабушку, Тату...

Подъ окномъ гулко прозвучали копыта лошади, мягко зашуршали шины экипажа.

— Это она,—мама!

Бобикъ, быстро вскочивъ съ колѣнъ, бросился въ одной рубашенкѣ черезъ столовую, гостиную въ прихожую, слабо освѣщенную одной маленькой лампой.

— Подожди, Бобикъ, простудишься! — кричитъ Тата.

Но онъ не слышитъ... Что-то нѣжное, прелестное, давно жданное спѣшитъ къ нему на встрѣчу, хватаетъ на руки и цѣлуетъ, обдавая запахомъ чуднымъ и едва уловимымъ.

— Мама, мама!—шепчетъ онъ, смѣясь и плача...

— Наконецъ-то, а мы ждали, ждали...

Это говоритъ бабушка, прикурнувшая на диванѣ въ «проходной» въ ожиданіи мамы, и теперь такъ смѣшно жмурящаяся отъ свѣта висячей лампы.

— Едва вырвалась... нельзя было!.. А ты уже ложился... милый?

Говоря это, молодая женщина густо краснѣетъ и съ Бобикомъ на рукамъ подсаживается къ чайному столу.

Бобикъ считаетъ маму красавицей, лучше Таты, куда лучше! Въ самомъ дѣлѣ, она очень мила, — эта тоненькая, какъ былиночка, блѣдная и эффектно одѣтая молодая женщина. У нея бѣлые, какъ сахаръ, зубы и порочные глаза, кажущіеся Бобику небесными. Она смѣется заразительно, рѣзкими, дѣтскими звуками и поминутно цѣлуетъ Бобика прямо въ открытый ротикъ.

Бобикъ безконечно счастливъ. Шелкъ маминаго платья пріятно щекочетъ его голыя ножки, а запахъ ея духовъ обдаетъ нѣжной волною.

— Что ты подѣлывалъ безъ меня, милый?

Бобикъ смотритъ на свою нарядную маму широко-раскрытыми влюбленными глазами, и перебирая на ея тонкихъ, нервныхъ пальцахъ дорогія модныя кольца, разсказываетъ, что онъ дѣлалъ.

Сначала въ саду копалъ гряды... Потомъ качался и ушибъ носъ... Только не плакалъ. А Тата испугалась и все хотѣла приложить къ носу большой мѣдный пятакъ... Но онъ не позволилъ... Вѣдь онъ мужчина и долженъ терпѣть. Потомъ они играли въ поѣздъ... Онъ былъ машинистомъ, а Тата кондукторомъ... Ахъ, да, потомъ паукъ, большой... страшный...

— Милый, голубчикъ!..—шепчетъ молодая женщина, вслушиваясь въ его лепетъ, и блаженно смѣется.

Въ немъ ея силы, радость, поддержка... И порочные глаза сіяютъ все ярче и ярче...

Передъ нею чашка душистаго чая.

— Пей-же, Катя,—говоритъ мать.

— Сейчасъ, мамаша! Ну, Бобикъ, вмѣстѣ... — и со смѣхомъ она подноситъ чашку къ губамъ, приглашая Бобика сдѣлать то-же.

— Мама, ты ночуешь у насъ?

Смѣхъ разомъ смолкаетъ. Оживленное личико блѣднѣетъ и хмурится.

— Нѣтъ, нѣтъ, нельзя, милый!

— Но почему?

Онъ готовъ заплакать. Она уйдетъ и снова скучное «одно и тоже»: ожиданіе у окна... поѣздъ... качели... Тата... Богъ съ ними! Ему надо маму... маму...

— Милый, о чемъ?

— Ты не уѣдешь? не уѣдешь!

Слезы переходятъ въ рыданія, рыданія въ стоны.

— Не уѣдешь? не уѣдешь?

Она сама еле сдерживаетъ слезы, и прерывающимся голосомъ обѣщаетъ ребенку привезти завтра конку съ паровозомъ и велосипедъ. Онъ вѣдь такъ хотѣлъ имѣть дѣтскій маленькій велосипедъ!..

— Возьми меня! возьми съ собою! возьми! — твердитъ онъ и смотритъ ей въ глаза такими жалкими, заплаканными кроткими глазами.

— Нельзя, нельзя, милый...

И лицо ея замѣтно блѣднѣетъ и гаснетъ...

Лампада то вспыхнетъ, то потухаетъ... Тата въ бѣлой ночной кофточкѣ съ толстой разметавшейся по спинѣ косою, стоитъ передъ божницей и тихо шепчетъ молитвы.

Она всегда очень набожна, эта блѣдная, печальная, строго-красивая Тата. По ея лицу скользятъ и бѣгутъ тѣни...

— Мамочка... маленькій трехколесный съ красненькимъ сидѣньемъ... — шепчетъ въ постели Бобикъ.

Его мама сидитъ на краю его дѣтской кроватки, съ которой нарочно сняли синій переплетъ. Они оба теперь успокоились... Только изрѣдка Бобикъ всхлипываетъ нервно, всею грудью, а мама вздыхаетъ... Отблескъ лампады роняетъ лучи на темную каемку ея длинныхъ рѣсницъ... Одна рука ея подсунута подъ спинку ребенка. Другою он нѣжно гладитъ его слипшіеся отъ пота кудри.

— Мамочка, съ шинами,—проситъ мальчикъ.

— Непремѣнно съ шинами,—торопится отвѣтить молодая женщина.

И Бобикъ счастливо смѣется. Ему хорошо и сладко чувствовать подъ собою тонкую пахучую мамину руку, видѣть игру лучей на миломъ, безконечно миломъ лицѣ.

Полусвѣтъ не мѣшаетъ наплаканнымъ глазкамъ. Его клонитъ ко сну...

А Тата все шепчетъ молитвы.

Бобикъ то закроетъ глазки, то вдругъ широко откроетъ ихъ, чтобы увидѣть еще разъ маму... Она такъ нѣжно смотритъ на него—родная, милая, такая красавица въ этихъ слабыхъ лучахъ.

— Мамочка! — шепчетъ онъ еле двигая губками,—какіе это духи у тебя?

— Ирисъ и вервена, голубчикъ!

— Ирисъ и вервена...—повторяетъ Бобикъ сквозь сонъ.—Ирисъ и вервена... какъ хорошо... вервена... вер-вена...—и сладко засыпаетъ съ дѣтски счастливой улыбкой на губахъ...

II.

Поѣздъ ползетъ, какъ черепаха...

Только-что проѣхали Ланскую.

Молодая женщина тѣсно прижимается къ углу вагона. Колеса стучатъ... Или это ея сердце стучитъ, какъ пойманная пташка?.. Въ открытое окно льется струя чистаго, свѣжаго воздуха... Визави сѣдая въ букляхъ старушка дремлетъ съ болонкой на рукахъ.

— Удѣльная... Опять остановка! О, какъ долго... долго...

«Мамочка съ шинами и съ красненькимъ сидѣньемъ»,—слышится ей звонкій и нѣжный голосокъ сына...

А сердце стучитъ, неугомонное...

Она его любитъ, горячо, порывисто, какъ только можетъ, способна любить такая женщина, вся сотканная изъ чувствъ и нервовъ. Сегодня она чуть было не сдалась на просьбы ребенка. Но... нѣтъ... Опять муки ревности... отчаяніе...

«Твой сынъ разлучаетъ насъ... Я не переношу его... Ты больше мать,—чѣмъ женщина...»

Этотъ голосъ—«его» голосъ.. Ахъ, зачѣмъ она такъ полюбила этого страстнаго, жестокаго и чуднаго человѣка!

«Ты мое все!—опять съ поразительною ясностью слышится ей,—я хочу тебя всю, всю безъ изъятья... Или все, или ничего... Ни сына, ни прошлаго...»

И такъ страстно, такъ жутко при этомъ блестятъ на нее эти два огромные, великолѣпные глаза... Не покориться имъ нельзя... И она покорилась...

О, какая это страстная, стихійная, божественная любовь... Онъ всю ее охватилъ собою, всю заполонилъ, точно каленными звеньями цѣпей, которыя она готова лизать, какъ собака.

Ихъ любовь—сплошная ревнивая мука и невыразимое блаженство!..

До 26 лѣтъ она не знала этого яда, отравившаго теперь всѣ атомы ея души и тѣла... Онъ

разлился по ней и жжетъ ее томительнымъ и сладкимъ огнемъ...

А поѣздъ все ползетъ, какъ черепаха...

— Катя, наконецъ-то, дорогая!

Станція освѣщена слабо, но она сразу узнала его свѣтлый костюмъ, бѣлымъ пятномъ выдѣлявшійся въ сумракѣ іюльской ночи... И эти глаза сіяютъ нестерпимо...

— Наконецъ-то!

Онъ беретъ ея руку властнымъ движеніемъ хозяина. Вѣдь она его принадлежность, собственность.

На балконѣ ихъ маленькой дачи, затонувшей въ кустахъ бузины и сирени, шумитъ самоваръ.

— Дорогая, милая, наконецъ-то!

Она улыбается... Ея пятичасовое отсутствіе измучило его. И это на пятый годъ ихъ связи.

— О, милый, спасибо!

Ея губы тянутся къ нему. Какъ онъ хорошъ съ этой характерной головой сорока восьмилѣтняго красавца, съ этой несгорающей страстью влюбленныхъ глазъ!

Въ его лицѣ безпредѣльная, покорная преданность раба и жуткая любовь властелина. Она смотритъ въ его глаза и невольно сравниваетъ ихъ взглядъ съ дѣтски-чистымъ, невиннымъ и кроткимъ взглядомъ..

— Мамочка, не уѣзжай! не уѣзжай, дорогая!..— слышится ей плачъ и стоны ребенка.

А молчаливая ночь спускается все ниже и ниже...

— Женщина-самка, женщина-мать есть настоящій и нормальный типъ женщины... Но прежде чѣмъ стать матерью, она становится женщиной... Тебѣ не было дано этого прежде... Материнство поглотило въ тебѣ женщину, но, я думаю, ты могла-бы подѣлить...

— Но, милый...

— Ты безголовая самка по отношенію къ ребенку... Ты не замѣчаешь ни его недостатковъ, ни его дурного начала...

— Но, милый, Бобикъ не дурной ребенокъ..

— Ты слѣпа въ своемъ чувствѣ и растишь маленькаго демона.

— Но, Сергѣй, будь справедливъ, что ты хочешь отъ пятилѣтняго ребенка, хрупкаго, избалованнаго...

— Да, вотъ именно: избалованнаго...

И за минуту до этого влюбленные глаза полны яда ненависти.

О, этотъ ребенокъ, отнимающій отъ него эту изящную, маленькую женщину! Онъ ненавидитъ его всѣми силами души. Вѣдь бросилъ-же онъ свою семью по одному ея слову, бросилъ своихъ большихъ дѣвочекъ, такихъ умныхъ и милыхъ... А она? О, она слишкомъ мало любитъ его! Еще въ началѣ лѣта ребенокъ жилъ съ ними, отравляя ему минуты отдыха своимъ присутствіемъ. Она таскала его всюду за собою... Во врема прогулокъ, ребенокъ не спускалъ съ нихъ глазъ, недоумѣвающихъ и серьезныхъ, лишь только онъ касался его матери или нѣжно заговаривалъ съ нею. Съ трудомъ убѣдилъ онъ Катю отдать Бобика къ бабкѣ на конецъ лѣта...

«Ну,—думалъ онъ,—теперь мое царство».

И ошибся...

Не было дня, чтобы Катя не съѣздила въ городъ къ сыну... По возвращеніи оттуда, ея ласки носили характеръ истеричности... Онъ былъ слишкомъ чутокъ, чтобы не понять ея...

А ночь—темная, благоухающая чуть замѣтной свѣжестью начина щейся осени, окутываетъ ихъ все тѣснѣе и ближе...

— О чемъ ты задумалась?

Она вздрогнула, пойманная на мысли... Ея глаза вспыхнули и заискрились.

— Катя, Катя, да пойми-же, я люблю, мучительно люблю! Всю, всю хочу я тебя цѣликомъ съ твоимъ сердцемъ драгоцѣннымъ, чуткимъ... Все или ничего!.. Безъ тебя, могила... Катя, вѣдь я почти старикъ... Мнѣ не долго, можетъ-быть, осталось. Такъ не оставляй-же, люби меня, голубка моя милая.

— О, моя радость!

— Катя! Катя!

И новый поцѣлуй... долгій... мучительный...

III.

— Ахъ, Тата, не то, не то... Генералъ долженъ ѣхать впереди войска! Развѣ ты не знаешь?

Крупный и нудный дождикъ стучить о крышу бесѣдки... А внутри бесѣдки Тата и Бобикъ, примостившись къ круглому столу, разставляютъ оловянное войско. Бобикъ нервенъ и раздражителенъ... Онъ плохо спалъ эту ночь и жаловался на боль въ горлѣ... Подъ его голубыми глазами темные круги, придающіе всему личику обликъ страданія...

И новый велосипедъ съ шинами и красненькимъ сидѣньемъ не радуетъ его... Тата раздражаетъ его... Она никакъ не можетъ понять, что генералъ не поѣдетъ сбоку войска... И потомъ онъ такъ хотѣлъ съѣсть натощакъ грушу, а ему отказали...

Мама вчера была такая блѣдная, грустная и уѣхала гораздо раньше обыкновеннаго... Его укладывала спать Тата... Отчего онъ не можетъ полюбить Тату такъ-же крѣпко, какъ маму?.. Вѣдь Тата не отходитъ отъ него ни на минуту и цѣлые дни играетъ съ нимъ, а мама... Мама играетъ больше съ дядей Сергѣемъ. Бобикъ боится дядю и ненавидитъ его. При немъ онъ не рѣшается цѣловать маму такъ, какъ ему-бы хотѣлось. Глаза дяди Сергѣя такъ сердито смотрятъ на Бобика.—О, противный... гадкій...

И, зарядивъ маленькую пушку, Бобикъ стрѣляетъ въ непокорнаго генерала...

Вошла бабушка.

— Ну, что, моя смиренница?—обращается она къ Татѣ, и обнявъ молодую дѣвушку, нѣжно цѣлуетъ ея бѣлый, спокойный лобъ.

Названіе «смиренница» почему-то смѣшитъ Бобика, возвращая ему его хорошее настроеніе. Онъ смѣется раскатисто-громко и цѣлуетъ Тату тоже въ лобъ, какъ бабушка.

Выглянуло солнышко, прорѣзавъ тучу... Точно улыбка сквозь слезы...

Дождь пересталъ стучать о крышу.

— Глядите, солнышко... Бабушка... Тата! Ну, теперь поспѣетъ нашъ крыжевникъ,—кричитъ Бобикъ и смѣется...

Ему весело... весело...

Мариша, горничная Таты, принесла изъ дома калоши Бобика и, надѣвая на его тонкія, нѣсколько вялыя для его возраста, ножки, прихлопываетъ по подошвамъ, приговаривая:

„Ручкой хлопъ, хлопъ, хлопъ, хлопъ.
Ножкой топъ, топъ, топъ“...

Бобикъ совсѣмъ развеселился и съ громкимъ хохотомъ бѣжитъ отъ нея по сырой еще отъ дождя аллеѣ...

— Гдѣ онъ?

— Сюда... тише... только-что забылся...

— Тата, радость, спаси его!

— Катя! Катя, успокойся! не все еще потеряно, милая...

— Спаси, спаси его...

И, обезумѣвъ отъ горя, она хватаетъ руки, платье младшей сестры и цѣлуетъ ихъ, захлебываясь слезами.

— На вотъ, выпей...

Бѣлые зубы стучатъ о стекло стакана... Судорога сжимаетъ горло...

— Мама, мама...—слабо доносится изъ спальни.

— О-о!—и молодая женщина, подавивъ стонъ, бросается туда.

Весь въ жару разметался Бобикъ... По приказанію доктора срѣзали сегодня его пышные кудри, и безъ нихъ онъ напоминаетъ маленькаго, слабаго, еще не оперившагося птенчика. Его лицо пышетъ жаромъ. Ротикъ жадно глотаетъ черезъ силу воздухъ.

— Мама!

— Я тутъ, моя жизнь, тутъ моя радость!

Она осторожно склоняется къ ребенку, цѣлуетъ его лицо, ножки и тѣльце...

— Мамочка, — хрипитъ онъ, — ты меня любишь?

Еще нѣжнѣе ея поцѣлуи, еще порывистѣе прежняго...

— Больше всѣхъ въ мірѣ?—уже слабѣе допытывается ребенокъ.

А голубые глаза смотрятъ глубоко, пытливо.

— Больше всѣхъ, конечно, Бобикъ, мой ангелъ!

— И больше дяди Сергѣя?—скорѣй угадываетъ, нежели слышитъ она.

— Ну, разумѣется, прелесть моя!

И новые поцѣлуи, смѣшанные со слезами, скрадываютъ мучительную судорогу ея лица...

— Ахъ, какъ мнѣ хорошо теперь, мама,—лепечетъ больной,—ты вѣдь никуда не уѣдешь, останешься ночевать на Татиной кроваткѣ.

— Никуда, моя радость, не уйду я отъ тебя больше!

И чтобы не разрыдаться, она зажимаетъ въ зубахъ тонкій, батистовый платочекъ.

О, эта проклятая связь! что она сдѣлала!...

— Мама,—шепчетъ Бобикъ и лицо его улыбается улыбкой спящаго:—смотри, цвѣточки... желтенькіе... бѣлые... синіе... Тата, не топчи-же ихъ, гадкая... А вонъ лодочки на озерѣ... Сколько ихъ! Ѣдемъ, мамочка, ѣдемъ скорѣе, скорѣе... Ахъ мамочка... я гадкій, злой... я убилъ изъ пушки маленькаго генерала за то, что онъ не хотѣлъ стоять впереди войска... Не хорошо, мамочка, правда?

Ребенокъ бредилъ...

— Боже, спаси его! возьми мою жизнь, но сдѣлай чудо!...

Ночь... потрясающая... мучительная...

Ребенокъ успокаивается на минуту, чтобы страдать еще сильнѣе...

Бредъ смѣняется стонами; стоны—хрипомъ, вылетающимъ изъ этого бѣднаго горлышка... Докторъ былъ два раза въ продолженіе ночи.

— Крупъ... едва-ли вынесетъ...

— Какъ жестоко, какъ невѣроятно жестоко... Но все-же это лучше, нежели ждать, надѣяться... напрасно...

Кто это такъ горько плачетъ въ «проходной»...

Это Тата, обожающая Бобика...

— За что? за что?—мучительно сверлитъ мозгъ молодой женщины.

Одинъ вѣдь онъ у нея, единственный... И вдругъ... Холодъ сковываетъ ея члены...

— Мама...—лепечетъ Бобикъ.

— Милый, ненаглядный, сердечко мое маленькое!

Ее неудержимо тянетъ схватить ребенка на руки и бѣжать съ нимъ далеко, далеко, куда не дотянется до нихъ костлявая, сухая рука смерти...

А ночь ползетъ — равнодушная, безжалостная. Передъ нею призраки прошлаго...

Она и Тата—двѣ маленькія дѣвочки бѣгаютъ въ гимназію, учатъ уроки, грызутъ карамельки. Онѣ обѣ худенькія и ровныя, съ длинными косами.

Тата—черненькая и строгая, съ большими пе-

чальными глазами — обѣщаетъ быть красавицей... Она любимица матери. За то Катю боготворитъ отецъ—сухой на видъ, но чрезвычайно добрый полковникъ. Катя—его жизнь, его улыбка... Она знаетъ это... Даромъ что у нея нѣтъ красоты и ума Таты. Тата первая ученица и смиренница... А она, Катя—казакъ! Казакъ да и только... Но ея папа, ея баловень любитъ ее такую, какова она есть...

О, дѣтство, дорогое, беззаботное, гдѣ ты?..

. . . . . .

Курсъ ученья конченъ... У нихъ пріемы, офицерство... танцы... поклонники. Блѣдная Тата приковываетъ взоры,—сердца—Катя...

— Если ты будешь кукситься—останешься въ дѣвкахъ...—говорилъ полковникъ своей «неулыбкѣ»—Татѣ.

— И не надо, папочка! Мнѣ хорошо съ вами.

И такой кроткій, такой ласковый взглядъ освѣщаетъ этотъ великолѣпный живой мраморъ...

За то Катя не зѣваетъ...

Прелестное, хотя болѣзненно подвижное личико. Съ жуткими, лукавыми, о какими лукавыми глазками!...

— Бѣсенокъ,—говоритъ полковникъ,—казакъ... бѣсенокъ...

А она хохочетъ...

. . . . . .

— Ахъ!

Стонъ это или ей послышалось?

Нѣтъ, онъ спитъ, весь горячій и потный...

Ночь ползетъ, а съ нею ползутъ все новые и новые призраки...

Такая-же ночь—темная, свѣжая. Звуки музыки... смѣхъ, говоръ... Длинная, безконечная аллея...

— Вы сирена!—слышится сй...

И чьи-то губы жгутъ пониже локтя ея руку.

— «Любовь или нѣтъ?»—мелькаетъ въ ея головѣ.

Сладкій трепетъ охватываетъ ее всю, томя невыразимо... Слово сказано... Она невѣста... А тутъ смерть отца—ея первое отчаянное горе... горе на порогѣ къ счастью... Скромная свадьба въ ихъ полковой церкви... Влюбленныя ласки молодого мужа... Поѣздка въ Римъ... Венецію... Неаполь... и тамъ роды... новизна материнства и Бобикъ... Бобикъ... Бобикъ... Сколько муки и дивнаго счастья!..

. . . . . .

Она очнулась на минуту...

Что это? Большіе, лихорадочные глаза ребенка пристально, не мигая, смотрятъ въ темноту.

— Ты спишь, Бобикъ?...

Отвѣта нѣтъ, а глаза все смотрятъ, смотрятъ...

И, глядя на нихъ, она вспоминаетъ такіе же свѣтлые голубые глаза — безотвѣтнаго и тихаго мужа...

А она не задумываясь нанесла этому честному любящему сердцу жестокій, непоправимый ударъ, лишь-только на пути ея встрѣтился демонъ, давшій ей всю неизвѣданную сладость блаженства.

О, этотъ клубокъ запретнаго яда! Она осушила его до дна, и какъ горекъ онъ кажется ей въ эту минуту!

Ни слезы матери, ни уговоры Таты, ни мольба мужа не удержали ее.

Очертя голову, кинулась она въ новый потокъ... какъ пьяница, бросающійся на вино, захлебываясь въ немъ и чуть не умирая отъ слишкомъ большого избытка счастья. Это былъ стройный аккордъ двухъ душъ, двухъ сердецъ, двухъ умовъ, отчаянно смѣлыхъ, не знавшихъ ни страха, ни предразсудковъ.

И что эта была за любовь!.. Господь Великій и Милосердный...

И теперь расплата за все, за все. Ядъ страсти замѣнился ядомъ стыда, горечи, раскаянья...

Но къ чему жертва? Чѣмъ виноватъ этотъ невинный, слабый ангелъ? За что? За что?..

Ея сухіе до боли глаза впиваются въ темноту съ застывшимъ въ нихъ алчнымъ запросомъ:

— За что? за что?

. . . . . .

А глаза все смотрятъ... смотрятъ...

Въ горлѣ Бобика хрипъ и свистъ.

— Тата! Тата! онъ умираетъ...

Еще стонъ... еще хрипъ... Тихо...

Что-то оторвалось въ груди и полетѣло вслѣдъ за ребенкомъ.

Слезъ нѣтъ... Все кончено... Одно страшное роковое отчаяніе.

. . . . . .

IV.

Пѣніе затихло... Пѣвчіе одѣвали свои балахоны, какъ-то странно взмахивая рукавами...

Отъ свѣжей могилки съ памятникомъ моляща-

гося ангела исходитъ тонкій ароматъ розъ и геліотропа...

— Катя, идемъ! Все кончено!—шепчетъ Тата и беретъ ее подъ руку.

Ея глаза вспухли отъ слезъ, губы дергаетъ судорога.

— Постой еще немного...

И молодая женщина смотритъ, не отрываясь, на свѣжую могилку и на молящагося ангела, перевитаго вѣнками розъ и левкоя...

А въ головѣ шумитъ... И сердце замерло, какъ неживое...

— Мама, какіе это духи?—слышится ей, какъ во снѣ, жалкій серебристый и милый голосокъ.

— Ирисъ и вервена!—шепчетъ она, улыбаясь.—Ирисъ... ирисъ... вервена...

Чье-то незнакомое сочувственное лицо склоняется къ ней.

— Домой, скорѣе домой! Это пройдетъ, пройдетъ, не безпокойтесь...

— Вервена,—уже громко твердитъ она,—вервена ..

И замертво падаетъ на руки Таты...

— Уйди, уйди! не могу... мучитель. .

— Не гони, Христа ради... все равно, прошлаго не вернуть... Будемъ вмѣстѣ мыкать твое горе... Голубка, родная, жизнь моя, радость...

Листья давно пожелтѣли... Балконъ обнажился... Осеннее солнце бросаетъ прощальные лучи на цвѣт-

ныя стекла... Красноватый отблескъ отъ нихъ рѣзкимъ пятномъ ложится на его разомъ посѣдѣвшую голову и на ея срѣзанные во время горячки кудри...

— Уйди, уйди!

Она отталкиваетъ это когда-то непобѣдимое, гордое, а теперь жалкое и молящее лицо...

Какая мука въ опустѣвшей груди... Какая пытка...

Все кончено... Ни любви... ни ласки... Ихъ унесъ блѣдный мальчикъ съ собой въ могилу...

Жутко... больно...

И зачѣмъ онъ приходитъ мучить, терзать ее... Безполезно... Между ними онъ—безпомощный, трогательно-хилый...

Они его убійцы.

Будь она съ нимъ неотлучно, охраняй она его хрупкое тѣльце и душу своими постоянными ласками, заботами—онъ жилъ бы такой свѣтлый, хорошенькій, кроткій...

Ея горло сжимаетъ подступившая судорога рыданій...

— Уйди!—рѣзко и грубо кричитъ она, сама пугаясь своего крика.

Онъ схватилъ ея руки, худыя и блѣдныя послѣ болѣзни... сжалъ ихъ... заглянулъ въ глаза—въ эти широко раскрытые, почти безумные глаза и отшатнулся въ ужасѣ... Такой смертельной, такой дикой ненависти онъ не встрѣчалъ въ жизни. И онъ понялъ, что все кончено, поспѣшно поднялся и, не глядя на нее, молча вышелъ...

Заскрипѣли подъ его тяжелыми шагами шаткія ступени балкона... Стукнула калитка...

Тогда она машинально встала со стула и, подойдя къ двери, смотрѣла, какъ постепенно удаляется его высокая, теперь нѣсколько сгорбленная подъ бременемъ горя фигура.

Еще... еще разъ мелькнула она за поворотомъ аллеи... Вонъ вдали еще темнѣетъ сквозь порѣдѣвшую листву его широкополая шляпа... Исчезла... Ушелъ... не видно больше...

Все кончено...

Она одна... одна... въ цѣломъ мірѣ... А сердце все ноетъ... ноетъ...

Прощеніе.

I.

Минута... еще минута... еще... потомъ часы... потомъ дни... недѣли и годы...

Годы, годы, годы...

И все безъ него.

Почему безъ него? Какъ безъ него? За что ты взяла его отъ меня, безжалостная смерть?..

Или ты думаешь, что разлучила насъ, схвативъ его въ свои холодныя объятья...

Почему смѣется солнце, почему синѣетъ умиленное венеціанское небо, почему шепчутся и сквозятъ голубые прозрачные каналы, чему радуется праздникъ и веселая венеціанская жизнь?

Вѣдь его нѣтъ! Онъ умеръ.

Они вѣрно еще не знаютъ этого.

Онъ лежитъ тихо, тихо, какъ уснувшій.

А Розоритта—свѣженькая и смуглая дочь нашей хозяйки, съ чувственнымъ ротикомъ и глуповато-томными глазами—сыплетъ цѣлый дождь цвѣтовъ на тѣло моего дорогого...

Тѣло...

Такъ, значитъ, онъ умеръ, на самомъ дѣлѣ умеръ.

Прости солнце, и небо, розы и мирты, и вы всѣ, простите... Я не увижу завтра алѣющаго зарею неба, не увижу бирюзовой дали, ни вѣчнаго солнца!

Ни я, ни онъ—мы васъ больше не увидимъ.

Я и онъ—мы одно цѣлое...

Я и онъ, мы жили однимъ взглядомъ, однимъ дыханіемъ, однимъ чувствомъ...

Наши сердца бились въ одномъ согласномъ аккордѣ. И оба порвутся разомъ.

Онъ лежитъ передо мною, какъ живой, подъ душистымъ покровомъ пышныхъ цвѣтовъ...

Вѣтерокъ, набѣжавшій съ моря, цѣлуетъ его лицо, которое я до сихъ поръ такъ страстно и жадно цѣловала.

Оно мало измѣнилось, несмотря на болѣзнь...

Двѣ три новыя тѣни. Глубоко запавшіе глаза и ротъ, улыбающійся новой величавой улыбкой.

Его усы и кудри я тщательно разгладила моими дрожащими пальцами, обливая ихъ отчаянными слезами...

Теперь слезы изсякли...

Къ чему онѣ, когда черезъ день, самое большое, мы соединимся, чтобы никогда не разлучаться...

Желанный!... милый!...

Чувствуешь ты, какъ я смотрю на тебя, слышишь мою клятву соединиться съ тобою?

Да, да, клянусь моей любовью, моей вѣрой въ существованіе загробнаго бытія!

Подъ окномъ мандолина... Къ ней присоединяется голосъ, пѣвучій и страстный, призывающій къ нѣгѣ и страсти, тихо рокочущій,—настоящій голосъ прекрасной Италіи.

Розоритта въ испугѣ бросается къ окну.

— Нельзя, нельзя... здѣсь покойникъ.

— Ничего, дорогая, пусть поетъ. Онъ любилъ музыку. Она не можетъ оскорбить покойнаго.

И снова пѣснь, призывающая къ жизни и счастью, льется въ открытое окно.

А Виталій лежитъ неподвижно... Ему не надо теперь ни пѣсенъ, ни ласкъ, ни улыбокъ роскошной природы.

. . . . . .

Онъ лежитъ, все лежитъ неподвижно...

Но я чувствую—еще секунда... еще минута и глаза его откроются, онъ улыбнется, протянетъ руку и скажетъ: «люблю».

Да, да, именно люблю, и ничто другое... Когда онъ просыпался по уграмъ, онъ окружалъ мою голову своими руками и говорилъ это «люблю» съ особенной лаской. Люблю, люблю, люблю...

Его, дрожа, повторяетъ мое сердце...

Какою небесною музыкой звучало мнѣ это слово моего мужа, моего любовника, перваго и единственнаго.

Еще и еще розы...

— Откуда, Розоритта?

— Ихъ прислали друзья синьора... они тутъ и спрашиваютъ, когда панихида.

Панихида... Да... скажи имъ, дорогая, вечеромъ въ 8, а завтра утромъ мы хоронимъ синьора.

— Да, синьорина,—и она уходитъ, неслышно ступая, точно боясь разбудить уснувшаго.

Милая дѣвушка!

И снова мы одни съ тобою! Я кладу руку на

твое сердце... Оно не бьется и холодно, какъ мраморъ. И губы твои холодны, и руки... о, милый!

Но это ничего.

Завтра я соединюсь съ тобою и вмѣсто одного чужестранца похоронятъ двоихъ...

Какъ я сдѣлаю это, не знаю...

Но вѣдь ты вѣришь, что жена твоя не будетъ колебаться...

Мнѣ-ли бояться мученій? Хуже тѣхъ, что я перенесла, вырывая тебя изъ когтей смерти, быть не можетъ.

Я не знаю еще чѣмъ убью себя, но моя рука достаточно тверда для этого.

Я поцѣлую тебя и лягу... и придетъ смерть... отъ отравы, ножа или удушья, не все-ли равно?

Но лишь-бы смерть... смерть...

II.

Какъ это началось?...

Ахъ, да, помню...

Помню садъ и обрывъ и Волгу... Кустарники бузины и орѣшника... Помню скамейку и громадную сосну надъ нею.

Помню тотъ эскизъ, который насъ сблизилъ... И тебя...

Ты сидѣлъ на скамейкѣ, держалъ палитру, кисти...

Какъ красиво и характерно было твое молодое лицо! Печать вдохновенья лежала на высокомъ бѣломъ лбу.

Ты взглянулъ на меня затуманенными глазами.

Глаза смотрѣли, а мысль витала далеко.

На мольбертѣ я увидѣла, какъ въ зеркалѣ, отраженіе обрыва и Волги и золотого солнца, заходящаго за рѣку. И вскрикнула отъ восторга.

Ты поднялъ глаза... Экстазъ вдохновенья исчезъ.

Ты почувствовалъ близость посторонняго существа.

— Какъ вы находите?—спросилъ ты.

Твой вопросъ звучалъ лаской, а взглядъ любовался мною.

Потомъ попросилъ позволенія помѣстить и меня на полотно.

— Для полноты картины, — пояснилъ ты съ улыбкой.

И я согласилась.

Еслибъ тогда ты попросилъ у меня отдать мою жизнь—я бы согласилась и на это.

Я уже любила..

Встрѣчи у обрыва, встрѣчи въ чащѣ заброшеннаго сада—на рѣкѣ и въ цѣломъ лѣсу золотыхъ колосьевъ, кто васъ не знаетъ? Кто не былъ молодъ?

Виталій принадлежалъ къ числу тѣхъ избранныхъ, которые снабжены тѣмъ драгоцѣннымъ даромъ чуткости и пониманія самыхъ хитрыхъ извилинъ души, на которую способны только талантливыя натуры.

Онъ взялъ мою душу такимъ нѣжнымъ прикосновеніемъ, что я его даже не почувствовала.

Онъ берегъ мое сердце, какъ скупецъ бережетъ хрустальный сосудъ съ драгоцѣннымъ муро. И не пролилъ ни единой капли...

Мы любили беззавѣтно, свѣтло и чисто съ тою наивною увѣренностью въ постоянное счастье, которая доступна только молодымъ и чистымъ.

И счастье намъ улыбалось...

Оно было до того громадно и прекрасно, что заполонило и подхватило и понесло насъ далеко, далеко за предѣлы реальнаго, въ міръ фантазіи и свѣта, въ міръ искусства, поэзіи и любви безконечно свѣтлой, какъ день, и торжествующей, какъ молодость...

Виталій работалъ надъ новыми сюжетами, и я какъ могла, помогала ему. Мои золотые волосы и синіе глаза при тонкомъ и нѣжномъ профилѣ давали мнѣ возможность позировать мужу...

Я являлась передъ нимъ то Венерой, то Цирцеей, то Фриной, безстрашно явившейся на судъ.

Потомъ мы поѣхали въ Италію.

Виталій бредилъ Венеціей и Римомъ...

Онъ бросался въ Ватиканъ, писалъ картину за картиной, живя идеями и надеждами, между взмахами кистей и моими поцѣлуями, трудящійся и вѣрующій въ великое и свѣтлое начало.

. . . . . .

И вдругъ «оно» набѣжало неизбѣжное и страшное, какъ чудовище...

Злыя силы соединились вмѣстѣ, чтобы участвовать въ этомъ вопіющемъ дѣлѣ...

Отнять корку хлѣба у голоднаго, лѣкарство у больного, материнскую грудь ото рта младенца... отнять дыханіе и жизнь и дать смерть...

Смерть... смерть... смерть! Какой ужасъ! какое

безуміе! Какъ онъ боялся и проклиналъ ее. И все таки подчинился...

За что? Ты, Боже, Великій и Милосердный, Ты спасаешь и призрѣваешь, Ты даешь жизнь... За что-же Ты не пролилъ Твоей благодати на чающихъ ся? За что?

Но я не ропщу... Нѣтъ, нѣтъ!

Я не ропщу, потому что завтра-же уйду къ нему.

Насъ придавитъ одинъ кусокъ земли, одна плита бѣлаго мрамора. Наши души будутъ вмѣстѣ... гдѣ?— я не знаю. Можетъ быть, въ странѣ болѣе прекрасной, чѣмъ эта Италія, съ болѣе нѣжными колоритами, съ болѣе ласковыми улыбками неба и моря и чуднымъ ароматомъ лимонныхъ и розовыхъ цвѣтовъ... Тамъ будетъ жизнь... и счастье...

И я иду, иду къ тебѣ, милый!..

. . . . . .

Онъ лежитъ безъ движенія на своихъ высокоподнятыхъ атласныхъ подушкахъ.

Нужды нѣтъ.

Я цѣлую его глаза, отъ которыхъ вѣетъ холодомъ смерти, его сжатый мертвый ротъ съ еле уловимымъ исходящимъ изъ него запахомъ разложенія, котораго не могутъ заглушить ароматныя розы, принесенныя Розориттой.

Я цѣлую его жадно и долго, какъ живого, и наслаждаюсь этими послѣдними поцѣлуями.

Пусть они безотвѣтны... Онъ отдыхаетъ, милый, я стерегу его покой, пока не усну также.

А усну я скоро... скоро...

Еще послѣднія гондолы не выплывутъ на чуть

брезжущую свѣтомъ поверхность холодныхъ каналовъ, еще первые голуби не украсятъ бѣлыми хлопьями своихъ крыльевъ крышу собора св. Марка, а я уже буду съ тобою.

Насъ засыпятъ цвѣтами и зароютъ рядомъ со слезами сожалѣнія, потому что мы молоды и прекрасны и имѣли-бы право на жизнь...

III.

— Синьора, васъ спрашиваютъ.

Опять Розоритта.

Она вколола красную розу въ свои черныя косы,—розу, взятую съ гроба на память о моемъ возлюбленномъ, и этотъ подарокъ смерти красиво дисгармонируетъ съ ея лицомъ, воплощающимъ жизнь...

Она дѣлаетъ печальное лицо, но глаза ея, помимо ихъ воли, сыпятъ снопы лучей, отблески тѣхъ, что щедро даритъ солнце ея родины, и губы, сжатыя теперь въ полуулыбку соболѣзнованія, вотъ-вотъ раскроются, заблещутъ и засмѣются.

Я люблю смотрѣть на Розоритту, потому что «онъ» находилъ ее прекрасной.

«Онъ», смѣясь, путалъ наши кудри, ея—черныя, какъ ночь ея родины, мои—золотыя и нѣжныя, цвѣта спѣлаго колоса, далекой и милой Россіи. И любовался нами, какъ художникъ...

Онъ не видѣлъ въ тѣ минуты ни обожаемой жены, ни этой итальяночки съ задатками чувственности и лжи, но видѣлъ въ насъ идею новой картины, которой покланялся.

— Синьора, вы дремлете?—будитъ меня отъ грезъ голосъ Розоритты.

Я молчу и гляжу въ ея зрачки, полные ужаса.

— Синьора, вы нездоровы.

Не думаетъ ли она, что я помѣшалась съ горя. Вчера я рыдала и билась въ конвульсіяхъ...

Но она не знаетъ, не знаетъ моего рѣшенія.

Я жду... жду... чтобы соединиться.

Не все ли равно гдѣ? Здѣсь или тамъ... Лишь бы съ нимъ, дорогимъ, милымъ.

— Васъ спрашиваютъ, синьора.

— Кто?

— Дама. Вѣроятно, натурщица, не получившая платы...

— Зови ее сюда, Розоритта. Я заплачу ей.

. . . . . .

— Войдите, синьора.

— Благодарю васъ.

Боже мой, что за мелодія голоса!

А лицо... лицо!..

Я не видѣла еще подобныхъ...

И небо, и синія воды Адріатики соединились вмѣстѣ, чтобы создать эти два глаза, прозрачные и свѣтлые, подъ каемками длинныхъ рѣсницъ.

У ветхозавѣтныхъ женщинъ должны быть такіе глаза, миндалевидные, гордые и печальные, безъ зноя страсти и робкой мечтательности.

Лицо классически правильное, лицо итальянки, настоящее созданье художественной природы, умѣвшей рождать такія чудныя пѣсни, такія яркія лица!

На изжелта-бѣлой кожѣ неровный румянецъ. Губы дрожатъ отъ волненія.

— Синьора, — звучитъ ея голосъ, — синьора, не гоните меня... я слишкомъ страдаю... Дайте мнѣ быть подлѣ васъ... простите... но я не могла... не могла больше... эта неизвѣстность...

И она рыдаетъ глухо, мучительно.

— Что съ вами, успокойтесь, синьора.

— Вашъ мужъ...—шепчетъ она сквозь накипающія новыя и новыя рыданья...—онъ плохъ... безнадеженъ!..

Я отступаю въ изумленіи и ужасѣ. Передо мною безумная. Отступаю и открываю гробъ съ дорогими останками, которые заслоняла собою.

Страшный, душу потрясающій крикъ оглашаетъ комнату.

Незнакомка въ одинъ прыжокъ очутилась у гроба... и испускаетъ тихіе, протяжные и жалобные звуки...

Я слышу странную фразу...

— Vitalio *mio*, amico *mio!*

И она ласкаетъ нервными движеньями лицо и волосы покойнаго, цѣлуетъ его глаза, губы, какъ я только что передъ этимъ цѣловала.

Что со мною? Я грежу или нѣтъ?

Нѣтъ. Это дѣйствительность.

Тѣ же потоки солнца и свѣта... тѣ же розы и мирты, усыпавшія тѣло... То же неподвижно величавое спокойствіе мертвеца.

А женщина все рыдаетъ и шепчетъ, теперь уже яснѣе:

— Amico mio, Vitalio mio!..

. . . . . .

Она безумная... Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

Я приближаюсь къ ней и ласковымъ насиліемъ хочу отвести отъ гроба.

Но ея пальцы впились въ бѣлый глазетъ. Глаза, изъ которыхъ глядитъ на меня ужасъ и отчаяніе, не отрываясь смотрятъ на меня.

— Синьора,—слышатся мнѣ глухіе, страшные звуки,—синьора, вы должны меня здѣсь оставить... здѣсь... около, пока его не зароютъ... Я... я... его любовница!

И море, и небо, и розы—все свернулось въ одну пеструю пѣну... Она растетъ и клокочетъ и захлестываетъ меня, окружая и заполняя собой все со всѣхъ сторонъ... Она леденитъ и жжетъ и поднимается все выше и выше, вровень съ лицомъ, съ глазами.

Какая ночь... какая темнота...

И я теряю сознаніе.

IV.

Ночь... все еще ночь... хотя голубоватый эфиръ льется въ комнату широкой, ароматной волной.

Вчера его хоронили...

Я слышала, какъ во снѣ, дребезжащій, старческій голосъ единственнаго русскаго священника, отысканнаго Розориттой.

Я не могла проводить его на крошечное русское кладбище...

Не отъ безсилія, нѣтъ.

Онъ сталъ мнѣ чужой и далекій и вся моя жизнь съ нимъ полна лжи и обмана, безчело-

Государственная библиотека

вѣчнаго обмана, который я не въ силахъ простить!

Я не страдаю больше, мнѣ только темно, потому что на душѣ у меня безпросвѣтная ночь... ночь въ сердцѣ и ночь въ мысляхъ.

Его унесли тихо... тихо, чтобы не безпокоить меня.

Но тѣмъ не менѣе я слышала и шопотъ молитвъ, и другой шопотъ, твердящій поминутно свое ужасное:

— Vitalio mio, amico mio!

Какъ она его любила... Боже Милосердный...

А онъ?

И онъ тоже!

Конечно...

Она такъ прекрасна.

. . . . . .

Ты лгалъ мнѣ, безжалостно лгалъ, когда взялъ мое бѣдное сердце тамъ далеко, на берегу обрыва.

Ты лгалъ, когда цѣловалъ мои кудри, мое «золотое руно», какъ называлъ ихъ въ шутку...

Ты лгалъ, когда говорилъ, что любишь меня больше всего въ мірѣ.

Всюду ложь...

Ложь, ложь, ложь!

И грезы славы, и грезы счастья, и приливы чувства—все ложь, жестокая и безпощадная.

Ты любилъ ее, лаская меня, ты цѣловалъ ея образъ, прекрасный и гордый, въ то время, когда мои губы сливались съ твоими.

Изъ писемъ, присланныхъ мнѣ Джуліей, я узнала всю эту низкую повѣсть лжи и порока.

Они любовники съ юныхъ дней, когда я еще не знала Виталія. Она была уже женою другого... Онъ не смѣлъ открыто обладать ею и вотъ, чтобы заполнить свою жизнь и разсѣять горе, онъ взялъ меня.

Взялъ, чтобы погубить навсегда.

Такъ вотъ почему его тянуло въ Италію!

Тамъ была она—его Джуліа.

Джуліа, Юлія... Какъ сладко и мелодично должно было звучать въ его устахъ это имя!

Отчего я не Юлія?

Лиза—ничтожное мѣщанское имячко, не давшее ему ни малѣйшей иллюзіи обмана.

Джуліа и Лиза!.. Алмазъ и булыжникъ...

Но что значитъ имя, когда она сама такъ прекрасна!

Ложь... ложь... я проклинаю твое происхожденіе, какъ самое происхожденіе грѣха.

И какъ могъ ты притворяться, лаская меня?

Я видѣла огонь, жаркій и неподдѣльный, твоихъ глазъ, когда теплая итальянская ночь глубокой непроницаемой тайной окутывала окрестности и мы рука объ руку бродили по набережнымъ каналовъ.

Огонь разгорался все ярче и ярче, когда приближался часъ наслажденія... часъ объятій и ласкъ, безконечныхъ и свѣтлыхъ, смѣшанныхъ съ поцѣлуями и смѣхомъ, счастливымъ смѣхомъ, граничащимъ со слезами.

О, эти ночи ароматныя, южныя, похожія на дивную сказку безъ конца и начала!..

. . . . . .

*

Мы возвращались въ Россію, чтобы снова спѣшить въ Италію.

Теперь я понимаю зачѣмъ.

Тебя тамъ ждали... Ждали поцѣлуи и ласки— болѣе горячіе, нежели мои.

И ты уходилъ къ ней, не остывшій еще отъ моихъ ласкъ, унося ароматъ моихъ духовъ и волосъ, смѣшивая его съ другимъ ароматомъ, болѣе соблазнительнымъ по своей порочности.

О, какъ искусно скрывалъ ты отъ меня свою потрясающую, безпросвѣтную тайну!

Но я не упрекаю тебя! Вы и такъ наказаны судьбою... Она прекратила это безобразное торжество сатаны и его аггеловъ!

Я не упрекаю, потому что не люблю.

Любить и не вѣрить нельзя.

Только во мнѣ ночь... все ночь... въ душѣ, и мысляхъ, и въ самомъ сердцѣ моемъ ночь...

. . . . . .

V.

Еще день... еще утро...

То же умиленное небо... тѣ же лучи, сіяющіе и не грѣющіе меня.

Я встала сегодня... «Они» думали, что я больна...

Нѣтъ, у меня ничего не болитъ. Я только оцѣпенѣла.

Только что-то холодное, ужасное налегло и давитъ сердце.

Вошла Розоритта. Въ ея глазахъ ужасъ.

— Что такое? Дай зеркало.

— Синьора, ахъ, синьора...

И по лицу ея бѣгутъ слезы.

Да что же, наконецъ, со мною?

А... я сѣдая... вся сѣдая и бѣлая, какъ снѣгъ моей родины. Ни одной золотой нити... Все бѣло, бѣло.

— Какъ вы его любили, добрая синьора, — шепчетъ Розоритта, вытирая слезы.

Любила... да.

А сердце давитъ все больнѣе и больнѣе.

Розы, поставленныя на окошко, благоухаютъ слишкомъ пряно и ядовито.

Онѣ отравляютъ мысль.

Но что же? тѣмъ лучше! Онѣ мѣшаютъ сознанію и думамъ.

— Къ вамъ письмо, синьора!—и нерѣшительнымъ движеніемъ Розоритта протягиваетъ мнѣ бѣлый конвертикъ.

Письмо отъ Джуліи. Всего одна строчка:

«Во имя Бога и Мадонны, примите меня!»

— Тамъ ждутъ отвѣта?

— Да, синьора.

— Скажи, что жду сегодня.

Она уходитъ... Съ нею уходитъ день...

Ночь въ моей душѣ еще темнѣе и глубже.

Ждать ту, которая отняла отъ меня все любимое мною... Ждать, видѣть и не проклинать...

Но зачѣмъ-же, зачѣмъ она отдала его мнѣ... зачѣмъ отпустила отъ себя...

Мы были бы обѣ счастливы, не зная другъ друга...

Нѣтъ, не надо упрековъ.

Смерть все примиряетъ.

Но увидѣть ее! ту, которая воровала у меня его ласки, цѣловала его лицо... лицо, такъ безумно желанное мною, видѣть и сознавать, что тамъ у нея больше права—за давностью, за мукой, за красотою...

Ужасно, ужасно!

И зачѣмъ она сказала?

Нѣтъ, не она, а ея отчаяніе...

Останься живъ Виталій,—ихъ любовная поэма длилась бы... длилась бы и ложь...

О, если-бы не знать!

Я-бы умерла, счастливая сознаніемъ его любви, даже призрачной, его вѣрности... умерла съ божественной музыкой въ ушахъ, музыкой его признаній, безъ сожалѣнія и муки, преслѣдуя одну цѣль—соединеніе.

Счастливое невѣдѣніе отвернулось отъ меня.

Надо жить! Вотъ въ чемъ ужасъ... Надо жить, какъ живутъ люди, и Джуліа, и Розоритта, и тысяча другихъ.

Теперь я не лягу рядомъ.

Бѣлый мраморъ плиты не придавитъ меня.

Но развѣ онъ не легче той тяжести, сдавившей мою грудь и мое сердце?

Когда же кончится эта ночь... это оцѣпенѣніе!

. . . . . .

— Синьора... вы простили?..

Что это? Она или призракъ?

Какой ужасъ! Что дѣлаетъ горе...

Гдѣ ея прежняя божественная красота, красота итальянской природы, сотканная изъ лучей и свѣта, пѣсни и музыки, та удивительная гармонія линій и чертъ, воспѣтая когда-то Петраркой, вдохновившаго Рафаэля и тысячу другихъ?

Великій Боже, что съ нею?

Блѣдная, изнуренная, исхудавшая, съ глазами, вдавленными въ орбиты, съ губами синими, какъ у мертвеца, она еле держится на ногахъ.

— Синьора, простите!

Она не плачетъ. Глаза сухи и горятъ нестерпимо. Мнѣ страшно ихъ блеска, граничащаго съ безумiемъ, потому что я видѣла уже такіе глаза однажды—глаза мужа въ послѣднія его минуты.

За этими глазами—смерть.

Несчастная, какъ она любила!

— Синьора Джуліа,—говорю я, и мой голосъ дрожитъ, какъ туго натянутая струна мандолины,—синьора Джуліа, зачѣмъ вамъ мое прощеніе? Оно ненадобно было вамъ, пока вы замирали въ объятіяхъ моего мужа. Зачѣмъ-же оно явилось теперь, это запоздалое раскаяніе? Мы никогда не встрѣтимся больше... И вы не увидите больше женщины, загубленной вами. Завтра я ѣду въ Россію... Будьте покойны, если можете, и забудьте меня!

— Но прощеніе, прощеніе, синьора!

— Оно отъ Господа!

Она вся какъ-то сжалась отъ моихъ словъ и вдругъ застонала отъ страшной муки, рвавшей ей сердце.

— Синьора! не откажите!—послышался чей-то жалобный и тоненькій голосокъ.

Я подняла глаза и чуть не вскрикнула отъ неожиданности. Передо мной стоялъ, онъ, мой желанный, живой и прекрасный въ образѣ мальчика, почти ребенка... Его портретъ, его воплощеніе, его образъ. Чернокудрый и блѣдный съ говорящими южными глазками, съ рученками, простертыми съ мольбою,

весь ровный и стройный, дышащій благородною гордостью маленькаго венеціанца.

Эта осанка да южная кровь, бьющаяся въ венахъ, говорили о націи, но все-таки это былъ маленькій Виталій съ его высокимъ лбомъ и красивыми чертами. Я смотрѣла на ребенка широко-раскрытыми глазами и чувствовала, какъ горячая волна приливала мнѣ въ душу и топила и плавила страшную глыбу, наполнявшую ее.

Я подняла руку... потянулась къ ребенку.

Онъ вскинулъ на мать глазами и, поймавъ ея быстрый, почти неуловимый жестъ, необъяснимо нѣжнымъ движеніемъ прижался ко мнѣ.

Что-то раскололось внутри... и распалось, и вылилось наружу. Я рыдала неудержимыми рыданьями, сжимая мальчика въ тѣсныхъ объятіяхъ, покрывая его лицо, волосы и руки безчисленными поцѣлуями.

И въ то-же время мои губы шептали хрипло и безсвязно, шептали одну и ту же фразу десятки разъ подъ-рядъ:

— Amico mio, Vitalio mio!

И солнце, и небо—венеціанское, умиленное, и пышныя розы, и зеленыя мирты, и вся природа, сказочно прекрасная и царственно милостивая, вливала мнѣ бальзамъ прощенія и любви въ мою умиротворенную душу...

А губы все шептали чуть слышно, въ какомъ-то забвеніи сладкаго счастья:

— Amico mio, Vitalio mio...

. . . . . .

И я простила...

Кисъ - Кисъ.

I.

— Черезъ 5 минутъ начало... Божественная, готовы?

— Ладно, проваливайте.

— Серьезно—начало.

— Ну, такъ и начинайте...

— Такъ вы же во 2-мъ явленіи.

— Ну, во второмъ...

— Такъ какъ-же?

— А пойдите вы къ чорту! Даша, щипцы!

И выхвативъ изъ рукъ расторопной горничной накаленные щипцы, хорошенькая «премьерша» провинціальной драматической труппы принялась немилосердно палить густую бѣлокурую чолку.

— Елена Александровна можно?—раздалось за дверью.

— Вы, Томилинъ?—встрепенулась она.

— Я.

— И я, Кузьминъ, — прибавилъ другой голосъ.

— Ну, тогда нельзя!

— Да почему-же, божественная?

— Надоѣли.

— А Томилину можно?—ехидничалъ тотъ-же голосъ за дверью.

— Какъ всегда.

— Вотъ погодите-ка, я Максинькѣ насплетничаю.

— Можете! Даша, карандашъ! Да гдѣ-же карандашъ, чортъ возьми!

Даша засуетилась, ища карандашъ, а хорошенькая «премьерша», полуодѣтая, въ нарядной нижней юбочкѣ и батистовой распашенкѣ для грима, проводила по губамъ ѣдкой палочкой кровяного кармина.

Въ уборной, какъ и во всѣхъ уборныхъ провинціальныхъ театровъ, пахло духами, клеемъ и папиросами. Дешевенькій коверъ, превратившійся, за давностью времени, изъ голубого въ зеленый, покрывалъ полъ. Въ углу пріютился туалетъ, обитый кисеею, съ разбросанными по ней голубыми бантами. На туалетѣ стояло овальное «собственное» зеркало, отражавшее хорошенькое и подвижное лицо хозяйки съ лукаво-вызывающими глазами.

Елена Александровна Танина, или просто «Кисъ-Кисъ», какъ ее называли всѣ окружающіе за ея «кошачій» характеръ, отлично сознавала неотразимую силу этихъ глазъ и безбожно пользовалась ими. Но сегодня ей было не до того. Сегодня чудесные глаза не играли...

Она злилась.

— Киска, можно?—послышался за дверью знакомый голосъ.

— Это ты? Входи, входи, голубчикъ,—говорила она, и въ то же время подправляла лѣвую бровь, подчерненную нѣсколько больше правой.

— Кисъ-Кисъ, ты еще не готова!

И молодой, очень красивый, благодаря эффектному гриму и блестящимъ глазамъ, актеръ, съ развязностью близкаго вошелъ въ уборную.

— Максинька, милый!

Ловкимъ, кошачьимъ движеніемъ она закинула ему руку за шею и, не стѣсняясь присутствія горничной, прильнула къ нему, глядя на него снизу вверхъ своими искусно подтушеванными глазами.

Стоя она была еще эффектнѣе. Маленькая, хрупкая и изящная, какъ дорогая статуэтка, она походила больше на ребенка, нежели на 30-ти лѣтнюю женщину, имѣвшую десятилѣтняго сына, гдѣ-то далеко на рукахъ родственниковъ. Впрочемъ, она не скрывала ни ребенка, ни возраста—напротивъ, бравировала ими, сознавая свою силу и моложавость.

— О, да какая-же ты прелесть сегодня!—вырвалось у актера.

— Прелесть? правда прелесть? — обрадовалась она, какъ дѣвочка и покосилась въ зеркало.—Лучше дебютантки?

— Ну, та въ другомъ родѣ.

— Максъ, берегись, я ей глаза выцарапаю!

— Штрафъ заплотишь, безъ Занды спектакль не состоится.

— И безъ Піи тоже. А я истерику закачу сію минуту.

И ея голосокъ задрожалъ новыми для него нотками.

— Ну полно, Кисъ-Кисъ. Ты у меня несмѣнная.

— Господа, на сцену! Максимъ Григорьевичъ

божественная, готовы?—послышался голосъ помощника режиссера.

— Даша, бѣлое платье,—командовала молодая женщина и, просовыя голову въ отверстіе воздушной юбки, спросила:—Ну, а какъ принимали послѣ перваго акта?

— Принимали хорошо. Сама слышала.

— Черти!—обрадовались, что глазами ворочаетъ. Не жалѣютъ лапищъ.

— Это ты вѣрно говоришь. Глаза у нея мистическіе. Только, не скажи, и играетъ она хорошо.

— Та-лант-ли-вая?—странно блестя загорѣвшимся глазами, протянула Кисъ-Кисъ.

— Талантливая!—безъ запинки отвѣтилъ Горскій, стойко выдерживая ея взглядъ.

— Лучше меня?

— Я уже сказалъ: каждая въ своемъ родѣ.

— Ну, Максимка, берегись!—И она съ силой рванула воздушную оборку платья.

— Начинаемъ!—раздалось со сцены вслѣдъ за дребезжащимъ звонкомъ.

— Ладно, подождешь!—сердито проворчала Кисъ-Кисъ, стискивая бока своими миніатюрными ручками, чтобы дать возможность вспотѣвшей и измученной Дашѣ зашнуровать узко-налаженный лифъ.

Горскій, сидя верхомъ на стулѣ, курилъ и смотрѣлъ на нее.

Кисъ-Кисъ ему еще нравилась. Въ ней было что-то до-нельзя раздражающее и задорное, что не могло наскучить ему, несмотря на долгіе мѣсяцы ихъ связи. И потомъ, она была красива, способна и ловка. Эти три вещи были, по его мнѣнію, не-

обходимыми для актрисы. Злость Киски ему не особенно досаждала. И влюблена же она была въ него, какъ кошка! Это обстоятельство, правда было немного обременительно, но ловкость и умѣнье устраиваться искупали все. Къ тому же его не тянуло къ прочимъ женщинамъ. Провинціальныя дамы были мало интересны и щепетильны, а актрисы— свой братъ. Къ тому-же Киска считалась самою «шикарною» между ними и выцарапала-бы ему глаза за измѣну.

До сегодняшняго дня, впрочемъ, онъ не ощущалъ особеннаго неудобства отъ связи съ Киской... Но сегодня...

Когда онъ увидѣлъ эту новую дебютантку, съ ея черными звѣздами, вмѣсто глазъ, и бархатно-страстнымъ голосомъ, врывающимся въ самую душу, онъ невольно сравнилъ ее съ Киской и не въ пользу послѣдней.

На репетиціяхъ новая актриса «не играла». Многіе изъ труппы, вслушиваясь въ ея монотонную читку и глядя на блѣдное и очень красивое лицо, рѣшили на скорую руку, что она «бездарность».

Но когда она появилась въ 1 актѣ пресловутой Зандой, заигранной всѣми провинціальными героинями, эффектная въ красномъ облакѣ тюля, съ чисто цыганскими глазами, Горскій понялъ, что она и красавица и талантъ на диво.

Понялъ это и режиссеръ и антрепренеръ Илья Исаичъ Петровъ, купецъ-рыбникъ, баловавшійся «не своимъ дѣльцемъ шутки ради». Поняла и неизбалованная провинціальная публика, проводившая новую актрису дружными аплодисментами.

II.

Декораціи для второго акта были уже поставлены. Придерживая обѣими руками тренъ бѣлаго платья, изящнѣе и миніатюрнѣе, чѣмъ когда-либо, Кисъ-Кисъ пробиралась на мѣсто.

— Дочурка!—задѣлъ ее первый комикъ, игравшій по піесѣ ея отца.

— Отвяжись,—отрѣзала она проходя дальше.

— За что, мамочка, видитъ Богъ—невиненъ.

Отъ комика несло водкой и онъ едва ворочалъ языкомъ.

Дебютантка, высокая, немного полная дѣвушка, прекрасно нагримированная, съ темными, немного мрачными глазами, была еще очень молода, несмотря на нѣкоторую громоздкость фигуры.

Она замѣтно волновалась.

Горскій говорилъ ей что-то, стоя рядомъ у кулисы.

Кисъ-Кисъ похолодѣла. «Начинается!»—мелькнуло въ ея головкѣ, но овладѣвъ собой, она подошла къ дебютанткѣ и спросила ее съ любезной улыбкой:

— Что, боитесь?

— Ужасно!—чистосердечно созналась та, довѣрчиво и ясно улыбнувшись подошедшей.

— Елена Александровна, приготовьтесь,—шепнулъ ей помощникъ.

Кисъ-Кисъ обдернула привычнымъ жестомъ юбку, тронула прическу, перекрестилась и ступила на сцену.

Публика любила Танину за хорошенькое личико, за подкупающую веселость, за милое щебетанье веселыхъ и трогательно грустныхъ ролей.

До Ратміровой, «героиней» была одна, непользовавшаяся успѣхомъ, актриса. Это еще больше укрѣпило престижъ Киски.

Теперь-же Танина боялась новой соперницы и «старалась» играть.

Роль Піи—глупенькой и наивной щебетуньи—была не изъ яркихъ. Но Кисъ-Кисъ такъ мило стрѣляла въ абонементныя ложи и первые ряды, что публика ласково отнеслась къ своей любимицѣ.

Кисъ-Кисъ ликовала.

— Ну, что?—наскочила она за кулисами на антрепренера-рыбника.

— Сахарная!—пробасилъ тотъ,—одно слово сахарная,—и вкусно чмокнулъ ея розовыя ладони.

Третій актъ она не была занята, а сидя за кулисами на бутафорскомъ столикѣ, жадно прислушивалась къ игрѣ Ратміровой.

— А вѣдь божественная-то струсила,—подмигнулъ на нее первый комикъ второму.

— Что и говорить! Заклюетъ!

— Ну, нѣтъ! Ея пѣсенка спѣта. Да и Максимка такъ и охаживается возлѣ новой.

— А потому, что дуракъ. Съ этой взятки-гладки, а вѣдь Танина-то ему ангажементъ въ Казань обѣщала. И достанетъ, какъ Богъ святъ! Счастливецъ этотъ Максимка, право! Житье!... Ѣшь—не хочу!

— Подавится! Хлебнемъ-ка, мамочка.

— Нѣтъ, будетъ. И такъ въ первомъ дѣйствіи Ваньки не слышно было. Шипитъ себѣ подъ носъ,

дьяволъ, хоть ты тресни... На однихъ «кренделяхъ» выѣхалъ.

— На Занду заглядѣлся.

— И очень просто. Заглядишься, братъ... Глазищито! Бодаются.

Занавѣсъ съ шумомъ опустили.

Ратмірова захватила публику и выходила на аплодисменты, блѣдная отъ волненія подъ тонкимъ слоемъ румянъ и какъ-бы сконфуженная неожиданнымъ успѣхомъ.

— Обласкали, барышня. Спасибо, чудесно обласкали... Душевно благодаренъ, — кинулся къ ней «самъ» и поцѣловалъ ея руку совсѣмъ иначе, нежели у Киски за нѣсколько минутъ до этого.

А Кисъ-Кисъ все видѣла со своего мѣста и сердце ея грызла самая ѣдкая зависть къ успѣху Ратміровой.

III.

Ольга Павловна вернулась домой довольная и счастливая. Успѣхъ превзошолъ ея скромныя ожиданія. Ее разъ пять вызвали послѣ 4-го акта, гдѣ Занда умираетъ на судѣ отъ руки фанатика-Драгоша, желая оградить отъ пули своего молодого защитника Іонеля. Провинціальная публика чутка и отзывчива на мелодрамы, а «Свадьба въ Валени» одна изъ тѣхъ пьесъ, гдѣ больше эффектовъ, нежели словъ. И Ратмірова играла къ тому же съ большимъ подъемомъ и темпераментомъ.

Послѣ спектакля, мѣстные меценаты угощали ее ужиномъ. На подъѣздѣ собралась кучка молодежи,

встрѣтившая ея выходъ изъ театра дружными аплодисментами. За ужиномъ пили ея здоровье. Этотъ ужинъ смущалъ немного Ольгу, но на немъ присутствовали всѣ главари ихъ труппы, не исключая и Кисъ-Кисъ.

Несмотря на всю свою молодость, Ольга Павловна не могла не понять, что мягкія, нѣжныя лапки Кисъ-Кисъ вооружены острыми коготками, которые при первомъ-же удобномъ случаѣ вопьются въ нее.

Но она недолго задумывалась надъ этимъ. За ужиномъ было шумно, весело, но вполнѣ прилично. Очевидно, актеры и ихъ покровители стѣснялись немного ея, или предсѣдателя управы, почтившаго ихъ своимъ присутствіемъ,—она не разобрала. Предсѣдатель ухаживалъ за Кисъ-Кисъ, за ней—Горскій. Горскій — прекрасный актеръ,—она это сразу замѣтила, несмотря на нѣкоторую чисто провинціальную пѣвучесть и приподнятость тона. У нихъ, въ школѣ, за эту пѣвучесть «съѣли-бы» въ одинъ годъ. Здѣсь другой жанръ игры былъ-бы неудовлетворителенъ. Онъ мастерски выдѣлилъ тусклую роль Іонеля и смѣло набросалъ въ двухъ—трехъ мѣстахъ яркіе блики, отъ которыхъ она получила совсѣмъ иную окраску. Ратмірова, слушая похвалы Горскаго насчетъ ея таланта, его три—четыре удачныя поправки, не могла не обрадоваться, что этотъ талантливый и умный актеръ «призналъ» ее. Къ тому-же онъ былъ очень красивъ, пожалуй лучше, нежели безъ грима, и страшно походилъ на ея жениха—Колю, оставленнаго въ Петербургѣ. Только у Коли были добрые и печальные, а у этого слишкомъ говорящіе актерскіе глаза.

Она знала, что Горскій и Танина любятъ другъ друга—ихъ связь была всѣмъ извѣстна, и потому не боялась, что ухаживаніе Горскаго скомпрометтируетъ ее. Къ тому-же она невѣста и любитъ Колю...

Прошлой весной только они кончили оба драматическіе курсы. Коля былъ ея товарищемъ по школѣ. Ихъ обоихъ, какъ наиболѣе талантливыхъ, приняли на казенную сцену. Но она пожелала попробовать счастья въ провинціи. Николай-же не могъ оставить больной старухи-матери и удовольствовался тѣмъ, что ему давали играть въ образцовомъ театрѣ.

Въ Н—скъ Ратмірова пріѣхала робкой и смущенной дебютанткой. Въ школѣ о провинціи говорили, какъ о болотной ямѣ, засасывающей таланты. О труппѣ она боялась и думать, разсчитывая встрѣтить въ ней сальное ухаживаніе мужчинъ и явную вражду женщинъ. Ничуть не бывало. Женщины, не исключая и премьершы Таниной, встрѣтили ее сдержанно и любезно; мужчины по-товарищески. Она оказалась моложе и порядочнѣе, нежели они ожидали, и это накладывало извѣстную узду въ обращеніи.

Благодаря сегодняшнему успѣху, она сразу заняла надлежащее положеніе въ труппѣ...

И довольная собою и всѣми, она распустила свою густую, темную косу, накинула широкую фланелевую блузу и сѣла писать въ Петербургъ Колѣ.

IV.

— Если это будетъ продолжаться, я приму мѣры...

— Киска, опомнись, что ты?

— Не подходи ко мнѣ... Трусъ... Влюбленъ въ одну и скрываетъ это отъ другой... Ошибаетесь, мой милый, все вижу... и вашу недотрогу эту и какъ она Ильюшкой винтитъ...

— Неправда! Она честная дѣвушка.

— Ага, прорвался! Ревность—не свой братъ! Она-то честная? Въ школѣ еще любовника завела.

— Молчи, не говори, чего не знаешь!

— Батюшки, влюбленъ! Максимъ, ты влюбленъ?

— Отвяжись!

Кисъ-Кисъ заглянула въ глаза Горскаго. Они были темны и непроницаемы, какъ всегда.

Что-то больно кольнуло сердце молодой женщины. Ей показалось невозможнымъ потерять этого красиваго и талантливаго человѣка.

— Максъ,—зазвенѣлъ ея голосокъ новыми, мягкими нотками,—Максъ, ты меня любишь?

— Тебѣ миндальничать еще не надоѣло? — холодно отстранилъ онъ ее...

Елена Александровна вздрогнула.

«Начало конца!» — мелькнуло въ ея головкѣ и сердце защемило больнѣе.

— Вы сыграете, надѣюсь, въ мой бенефисъ?— возможно холоднѣе спросила она.

— Какой вздоръ! Я обязанъ играть... Тѣмъ болѣе роль Макса—роль чистаго любовника.

*

— А еслибъ не былъ обязанъ?—прищурила она на него злыми огоньками загорѣвшіеся глаза.

— То все-таки сыгралъ бы... мы товарищи...

— А-а!—не то стономъ, не то вздохомъ вырвалось изъ ея груди.

Товарищи! только товарищи! и больше ничего... А ихъ ласки... ихъ связь... не скрываемая ни передъ кѣмъ. Они оба молоды, талантливы... красивы... Ихъ совмѣстная игра—великолѣпный дуэтъ, гармоничный и свѣжій, какъ сама молодость. Публика любитъ ихъ обоихъ... Они взаимно дополняютъ на сценѣ одинъ другого... Ихъ поцѣлуи звучатъ искреннѣе, страданія сердечнѣе благодаря «настроенію». Ихъ связь, ихъ любовь вдохновляетъ игру... Она твердо убѣждена въ этомъ... Все шло такъ хорошо, гладко... Она была вѣрна... относительно вѣрна, конечно, но все же вѣрна... Дальше поцѣлуевъ она не шла съ другими и то съ самыми «нужными» развѣ... Даже Ильюшку она «отшила», рискуя многимъ... Правда, злые языки утверждали, что она живетъ подъ сурдинку съ предсѣдателемъ управы и съ Томилинымъ — богатымъ молодымъ купцомъ-кожевникомъ... но все это вздоръ... И если она благосклоннѣе къ нимъ, то только ради премій на бенефисныя ложи, подношеній и тщеславія. Къ тому же все это пустяки... Отъ нея не убудетъ! и придавать всему этому значеніе можетъ какая-нибудь дура въ родѣ Ратмировой.

Ратмірова... Что въ ней хорошаго нашелъ Максъ? Красоту? талантъ? молодость?

Вздоръ! Она некрасива... или только подъ гримомъ. Но вѣдь если намалевать старуху Гутькину—

«комическую» ихъ труппы—и та сойдетъ. Глаза у нея хороши, правда. Но до «черныхъ звѣздъ», какъ говоритъ Максъ, далеко... Голосъ тоже ничего. Она, Кисъ-Кисъ, безпристрастна и воздаетъ должное должному.

Но остальное ни къ чорту!.. Притомъ тихоня... Максъ увлеченъ, но не надолго. Максъ и до нея увлекался хорошенькой предсѣдательшей, но появилась она,—Киска, и предсѣдательша стушевалась.

Теперь ей стоитъ только приласкать Макса и онъ забудетъ и думать о Ратміровой.

— Максъ, — позвала она тихимъ вкрадчивымъ голосомъ.

Онъ не отзывался.

— Максинька,—повторила она громче.

Отвѣта не послѣдовало.

Она обернулась. Горскаго у нея уже не было. Онъ ушелъ во время ея глубокой задумчивости.

Этого еще ни разу не случалось. Они ссорились и прежде, но ссоры оканчивались обыкновенно примиреніемъ въ отдѣльномъ кабинетѣ излюбленнаго актерами ресторанчика.

Они чувствовали необходимость другъ въ другѣ и избѣгали ссоръ.

Максъ первымъ нарушилъ традицію.

Ей стало нестерпимо больно. Въ первый разъ кажется не досадливыя, а настоящія слезы затаенной женской обиды навернулись ей на глаза.

Но на одну минуту только...

Злая и хорошенькая, какъ никогда, она подошла къ окну и погрозила своимъ крошечнымъ кулач-

комъ по направленію театра, находившагося противъ ея квартиры, по ту сторону площади. Тамъ, по ея разсчету, шла репетиція, и Горскій «ломалъ» Отелло съ ненавистной Ратміровой...

V.

Ольга волновалась. Она должна была играть Лидію въ «Блуждающихъ огняхъ» по просьбѣ бенефиціантки.

Она не могла не понять, что это месть, и удачная месть со стороны хорошенькой Кисъ-Кисъ. Какъ и всѣ тонкія артистическія натуры, Ольга сознавала свое дарованіе, но роль кокетливой, изящной и задорной львицы, какою нарисовалъ авторъ Лидію, ей не подходила.

Даже самый голосъ ея съ прекрасными бархатными нотами и мелодичными периливами здѣсь не годился.

Тутъ требовался задоръ, блескъ и наглость. Ничего подобнаго въ Ольгѣ не было.

И она вдвойнѣ страдала: и отъ оскорбленнаго самолюбія, предчувствуя «провалъ», и отъ обиднаго насилія надъ эстетическимъ чутьемъ актрисы. Публики она боялась меньше всего остального. Публика полюбила ее со всею силою своей стихійной стадности. Она простила бы своей любимицѣ дурное исполненіе въ счетъ прошлыхъ и будущихъ заслугъ, простила бы за тѣ чудно-выполненныя роли, въ которыхъ развернулась передъ нею Ольга своимъ молодымъ и блещущимъ недюжиннымъ дарованіемъ. Своей Дездемоной она «захлестнула» толпу...

А ея Луиза въ «Коварствѣ и Любви?»

Луизу должна была играть Кисъ-Кисъ, но Кисъ-Кисъ уступила въ виду бенефисныхъ хлопотъ эту роль ей—Ольгѣ...

Уступила и... раскаялась... Такого «треска» театръ не запомнилъ. Киска долго дулась на Ратмірову и на «самого»... Но хорошенькое кольцо-маркиза, поданное ей черезъ оркестръ въ ближайшее представленіе, сдѣлало свое дѣло... Божественная смилостивилась и даже похвалила Ратмірову за «милое» исполненіе Луизы. Ольга не придала значенія этой дѣтски-безсильной выходкѣ.

Ея Луиза окрылила ее... Она ходила, какъ въ дурманѣ, торжествующая и счастливая своимъ успѣхомъ. Даже въ ея глазахъ появилась какая-то нѣжная влага и они горѣли, какъ звѣзды...

Въ Луизѣ она поднялась до творчества, до экстаза, который захватываетъ и полонитъ актрису не меньше зрителей. Этотъ послѣдній успѣхъ ударилъ ей въ голову, заполнилъ ее всю, отравляя все ея существо сладкимъ ядомъ. Сальныя выходки двухъ комиковъ, чмоканье ладошекъ антрепренеромъ-рыбникомъ, шпильки Кисъ-Кисъ, все это отошло отъ нея далеко, далеко... Они для нея не существовали... Существовала только сцена и рампа, дѣлившая ее отъ этой волнующейся толпы, королевой которой она входила на подмостки...

Она жила ролями, изступленно работая по ночамъ, репетируя «во всю» по утрамъ, не жалѣя ни голоса, ни нервовъ, преслѣдуя одну цѣль—всецѣло отдаться страстно любимому дѣлу.

— Надорвемся, дѣтка!—говорила ей Гутькина,

успѣвшая привязаться къ Ольгѣ за любовь къ труду и свѣтлую головку.

— Ничего, Анна Мироновна,—улыбалась она ей своимъ добрымъ, немного большимъ ртомъ, широко открывающимъ великолѣпные зубы,—ничего, вывезетъ!

И «вывозило», дѣйствительно...

Въ труппѣ не могли не признать ея таланта.

— Подростетъ — нашумитъ, мамочка, — острилъ старшій комикъ.

— Коли не зарвется,—добавилъ второй.

— А Максимка-то нажариваетъ. Страсть! Не отстаетъ.

Горскій дѣйствительно не отставалъ. Такого пылкаго и восторженнаго юноши Фердинанда въ N—скѣ еще не видѣли...

И красивъ же онъ былъ на диво въ своемъ пудреномъ парикѣ и бѣломъ щегольскомъ мундирѣ!

Послѣ послѣдней картины, прошедшей сплошнымъ захватывающе-страстнымъ дуэтомъ двухъ трогательно-несчастныхъ любовниковъ, театръ неистовствовалъ.

Ратмірова и Горскій выходили кланяться къ рампѣ, крѣпко держась за руки, чувствуя какую-то невидимую духовную связь, созданную имъ этой ревущей толпой.

Одурманенная успѣхомъ, Ольга видѣла тотъ же дурманъ, то же сознаніе торжества въ глазахъ своего партнера и, не давая себѣ отчета, безсознательно, крѣпко, по-товарищески, пожала ему руку.

Его глаза вспыхнули ярче.

— Спасибо, голубушка!—шепнулъ онъ ей и поцѣловалъ за кулисами ея похолодѣвшіе пальцы.

За что онъ благодарилъ ее, она не поняла. За это-ли дружеское пожатіе, или за игру, полную блеска и правды?

VI.

На сценѣ шла суматоха. Помощникъ выбился изъ силъ, бѣгая изъ одной уборной въ другую. Рѣзкій звонокъ звучалъ оглушительнѣе, чѣмъ когда-либо. Плотники въ чистыхъ рубахахъ, подвыпившіе ради торжественности случая, бросались декораціями и ругались, какъ никогда.

Въ театрѣ пахло бенефисомъ. Самъ губернаторъ обѣщалъ почтить «театральную именинницу», вручая ей сотенную за ложу.

Уборная торжествующей Киски была биткомъ-набита. Здѣсь былъ и лишкій, какъ сахаръ, бѣлобрысый рецензентъ «Захолустья», и предводитель, и влюбленный Томилинъ, и наконецъ самъ Илья Исаичъ, сіявшій улыбками и орденами.

Сама именинница въ коротенькомъ платьицѣ, уже готовая къ 1-му дѣйствію, казалась прехорошенькой дѣвочкой. Она и поддѣлывалась подъ этотъ тонъ, играла глазками, наивничала и въ общемъ была прелестна.

— Вы ужъ поддержите, господа!—умоляюще, подѣтски складывая ручки, просила она.

— Ну, еще бы, божественная, мозоли нахлопаемъ.

— А подношенія есть? — лукаво прищурилась Киска.

— Весь оркестръ заваленъ, чуть будку не сбили съ мѣста. Ванька и то жалуется, что ему лысину пробьютъ,—шутилъ «самъ», довольный бенефисомъ.

— Ахъ, вы милый!—подпрыгнула она и сочно чмокнула его въ самыя губы.

— Разъ!—засмѣялся остановившійся на порогѣ Горскій.

— Мамочка, нельзя. Отвернись, сахарный. Вѣдь случай-то такой! Ради случая можно.

— Да вы не безпокойтесь, Илья Исаичъ, онъ не ревнуетъ, — не совсѣмъ искренно засмѣялась Танина.

— Ну-у?..

— Въ примадонну врѣзался! Ей-Богу...

— Ну, это ужъ не годится,—обижать Кисаньку,— нѣжно протянулъ предсѣдатель, и шокированный, и задѣтый въ одно и то-же время пикантной разнузданностью Кисъ-Кисъ.

— И не обидитъ, Вадимъ Павловичъ... Не заплачу: другіе найдутся... «Новый поклонникъ его мнѣ замѣнитъ, горе ему-же, мнѣ чтожъ за бѣда!»— лихо пропѣла Киска, играя разгорѣвшимися глазами.

— Браво! браво!—вторили мужчины, окружившіе эту маленькую, соблазнительную въ своемъ задорѣ женщину.

Но Горскій ничего не замѣчалъ, казалось...

Раздался 1-ый звонокъ. Онъ прошелъ въ уборную Ратміровой...

— Ольга Павловна, можно?

— Входите.

Она сидѣла у зеркала, тоже готовая къ выходу съ ролью въ рукахъ.

Онъ окинулъ ее опытнымъ взглядомъ и тотчасъ-же понялъ, что такая, какъ она, чистая и хорошая, для роли не годится.

— Что, не то?—угадавъ его мысль, спросила она тревожно.

— Не то, голубушка. Перцу въ васъ нѣтъ,— сознался онъ чистосердечно.

— Чего?

— Перцу!

Она засмѣялась.

— Это какъ у Таниной?

— Какъ у Таниной.

— И непоправимо?

— Вы не разсердитесь, если я предложу вамъ выпить для храбрости и удали.

— Нѣтъ, не разсержусь. И вы думаете, это поможетъ?

— Попробуемъ.

Онъ крикнулъ проходившаго бутафора, приказавъ ему принести въ уборную бутылку шампанскаго.

Первый-же бокалъ ударилъ ей въ голову. Она не привыкла пить.

— Противно?—засмѣялся онъ, видя, какъ забавно морщитъ она свой тонкій носикъ.

— Нѣтъ, ничего... Только вся роль изъ головы выскочила.

— Это только до выхода. На сценѣ заговорите. И что у васъ за скверная привычка, барышня, зубрить роли въ-зубрежку?—сказалъ онъ и взялъ ее за руку.

— Что подѣлаешь,—школа!—какъ-то виновато

улыбнулась она и руки не отдернула противъ обыкновенія.

Они помолчали.

Въ уборную заглянули двѣ маленскія «выходныя», хихикнули и скрылись.

И вдругъ весь страхъ Ольги прошелъ и замѣнился какимъ-то необузданнымъ весельемъ. Въ головѣ шумѣло. Горскій—такой красивый съ темной, замѣчательно шедшей къ нему «наклейкой» и въ свѣтлой парѣ—ей ужасно нравился сегодня. И потомъ онъ такъ откровенно любовался ею.

Его горячій взглядъ, обнимающій ея фигуру, и смущалъ, и радовалъ ее.

— Какой вы интересный, — созналась она, краснѣя.

— Гримъ удаченъ, — постарался бросить онъ возможно равнодушнѣе, но голосъ его дрогнулъ.

— Какъ странно,—говорила она послѣ второго бокала, заставившаго ярко заискриться ея темные глаза:—вы Максъ въ жизни и Максъ на сценѣ. Это ужасно удобно.

— Для кого удобно?

— Для партнершъ. Для Елены Александровны... для меня...

— Для Елены можетъ быть... но не для васъ... Что я вамъ...

И онъ сильнѣе сжалъ ея руку.

— Послушайте...—слабо сопротивлялась она,— я хочу еще,—и потянулась къ бутылкѣ.

— Нѣтъ, довольно... А то у васъ кафешантанная звѣздочка вмѣсто Лидіи выйдетъ,—засмѣялся онъ, удерживая ея руку и вдругъ неожиданно при-

тянулъ ее къ себѣ и быстро впился въ ея полуоткрытый влажный ротъ.

Ратмірова не вскрикнула... не протестовала. Она такъ и замерла, невольно прижимаясь къ нему и затуманенными глазами смотрѣла снизу вверхъ, въ его нестерпимо заблестѣвшіе зрачки.

— На сцену... на сцену!—гдѣ-то очень близко отъ уборной раздался хриплый голосъ режиссера.

. . . . . .

. . . . . .

Это была не игра, не исполненіе, а сплошное торжество женщины надъ нервами толпы. Горячіе, вакхическіе взгляды, горячія улыбки, нѣга, разлитая въ мерцающихъ глазахъ, влажныя губы, на которыхъ, казалось, еще чувствовались поцѣлуи Горскаго, захватили толпу... Бьющій черезъ край задоръ и вызывающая смѣлость, проходившіе черезъ всю роль, сдѣлали Ратмірову неузнаваемой.

Она была безподобна. Она превзошла и Макса Горскаго, и изъ всѣхъ силъ старавшуюся Киску и оставила ихъ далеко за собою.

Кискѣ не повезло...

Правда, театръ былъ набитъ сверху до низу по утроеннымъ бенефиснымъ цѣнамъ, послѣ каждаго акта черезъ оркестръ передавались безчисленные ящики и корзины, усердная молодежь не жалѣла рукъ, встрѣчая бенефиціантку и голосомъ, въ которомъ не оставалось уже ничего человѣческаго, выла имя Таниной, но Киска была слишкомъ умная женщина, чтобы не понять, что пальма первенства осталась не за нею.

Къ тому-же отъ нея не ускользнуло что-то не-

уловимо новое въ отношеніяхъ Ратміровой и Макса. Она ходила замѣтно поблѣднѣвшая подъ румянами съ дрожащими губами и выжидала.

Впереди былъ 4-й актъ, рѣшавшій побѣду...

Врядъ-ли и болѣе наблюдательная, чѣмъ N—ская, публика могла замѣтить глухую борьбу двухъ актрисъ, двухъ соперницъ, двухъ женщинъ.

Лелечка—Танина отвоевывала отъ Лидіи—Ратміровой своего любовника.

Борьба изъ жизни перешагнула рампу, перешла на сцену и била здѣсь ключомъ, найдя въ этихъ двухъ роляхъ прекрасное примѣненіе.

Обѣ горѣли, дрожали, волновались, обѣ блѣдныя и ненавидящія, забывъ весь міръ, толпу и театръ.

Онѣ точно проснулись обѣ, когда занавѣсъ упалъ подъ оглушительный гулъ зрительной залы. Ихъ вызывали одинаково горячо, дружно... Но Киска почувствовала побѣду Ольги, почти неуловимую для другихъ, но понятную для нея.

. . . . . .

. . . . . .

— Двѣ медвѣдицы въ одной берлогѣ не уживутся,—твердила Кисъ-Кисъ ошалѣвшему отъ неожиданности Петрову.—Рвите мой контрактъ—я уѣзжаю.

— Но, мамочка...

— Что мамочка! Вы не видите, что она оскорбила меня, «съѣла» мой бенефисъ? Не могла стушеваться по товарищески...

— Но чѣмъ-же она виновата, сахарная? Публика...

— Публика! публика!—передразнила Танина.—Ваша публика—дура. Она хлопаетъ или тѣлу, или кислой добродѣтели! Ну, да ваша Ратмірова недолго

процарствуетъ, вспомянете меня еще. Кто вамъ поднялъ сборы?—Я. Кто къ вамъ губернатора и всю управу изъ оперетки перетащилъ?—Я. Кто обуздалъ Горскаго, когда онъ вознесся?—Все я, я, я, я! И вы можете промѣнять меня на пришлую дѣвчонку, у которой и талантишка не Богъ знаетъ какой,—глазищи одни да голосъ!

— Мамочка!—взмолился Илья Исаевичъ.

— И вы думаете, что она не разгонитъ публику? Вы думаете, публикѣ вашей талантъ ея понадобился? Чушь! Ужины ей нужны въ кабинетахъ, актрисы шикарныя. Вотъ что! А пригласите-ка Ратмірову поужинать. Да она отравится скорѣе. А я не брезгала... для дѣла жертвовала собой... Сколько противныхъ рожъ перецѣловала. Брръ! Вотъ и раскиньте-ка мозгами, ваше степенство, кто вамъ нужнѣе. Съ нея-то взятки-гладки, съ вашей недотроги-царевны .. а я и теперь...—и глаза хорошенькой актрисы договорили остальное.

Судьба Ратмірової была рѣшена.

VII.

Ольга Павловна вернулась изъ театра съ смутнымъ ужасомъ на душѣ. Угаръ прошелъ съ послѣднимъ паденіемъ занавѣса... Какая-то горечь осталась на днѣ ея послѣ этого успѣха, сорваннаго благодаря шампанскому и до-нельзя поднятымъ нервамъ. Ей было гадко и стыдно при одномъ воспоминаніи о поцѣлуѣ Горскаго. Она теперь только ясно сознала, что школьные были правы, считая провинцію болотной ямой, засасывающей молодыя силы.

Да и силъ-то здѣсь не требовалось... Искусственное возбужденіе и ничѣмъ не прикрытый развратъ. Острые взгляды, показываніе голыхъ плечъ дѣйствовали одинаково, если не меньше, чѣмъ горячій драматическій подъемъ, доходящій до экстаза.

Минутное увлеченіе Горскимъ расплылось, какъ дымъ, и Коля стоялъ передъ нею, какъ живой, съ его печальными глазами.

— Нѣтъ, нѣтъ, вонъ отсюда!—восклицала она, хватаясь за голову при малѣйшемъ воспоминаніи объ этомъ фальшивомъ успѣхѣ сегодняшняго вечера, наложившемъ, какъ ей казалось, несмываемое пятно на ея чистую любовь къ искусству и правдѣ.— Завтра-же въ Петербургъ къ нему, дорогому, милому...

Она не для провинціи... по крайней мѣрѣ, теперь, когда въ ней все такъ хорошо, ясно и молодо. Подоспѣвшее письмо Ильи Исаича подтвердило и ускорило ея рѣшеніе. Она не могла не улыбнуться, читая эти вычурно-туманныя строки, гдѣ директоръ-рыбникъ извинялся въ нарушеніи контракта по независящимъ отъ него обстоятельствамъ.

Въ тотъ же вечеръ она быстро собралась и уѣхала, напутствуемая добрыми пожеланіями Гутькиной— единственной изъ труппы, не побоявшейся проводить ее до вагона.

. . . . . .

. . . . . .

Въ отдѣльномъ кабинетѣ излюбленнаго актерами ресторанчика, Горскій и Кисъ-Кисъ вспрыскивали свое примиреніе.

Въ розовыхъ ушахъ Кисъ-Кисъ горѣли, перели-

ваясь, два крупные шатона. Шатоны были не изъ числа бенефисныхъ подношеній и о происхожденіи ихъ Кисъ-Кисъ молчала.

Теперь она была пьяна отъ счастья и «редерера».

— Видишь, какъ хорошо, мы опять «любимся»,— тянула она немного размякшимъ голоскомъ.

— Это ты правду сказала,—согласился ея партнеръ, принимавшій мрачный видъ въ такихъ случаяхъ.

— Максинька, признайся, вѣдь ты было врѣзался, а-а?

— Ни!..

— Немножечко... Ну, вотъ столечко,—и она отдѣлила острымъ ноготкомъ на розовомъ мизинцѣ.

— Ни!..

— Я не разсержусь... милый, не бойся.

— Да я не боюсь,—обнялъ Горскій Киску.—Ее нельзя любить, милая...

— Да почему-же?—не унималась та.

— Почему? Да потому, что она—не ты... Въ ней, по-нашему, перцу нѣту...

И оба расхохотались...

Милочка.

I.

Это было ужасное несчастье... Тѣмъ болѣе ужасное, что налетѣло оно неожиданно, вдругъ, какимъ-то злымъ ураганомъ, разбившимъ, разломавшимъ молодую счастливую жизнь...

Впрочемъ, всѣ несчастья одинаково ужасны... Но семья Бирибиныхъ не хотѣла съ этимъ согласиться. Еще бы... Она была такая свѣтлая, хорошенькая— эта розовая Милочка съ задорнымъ смѣхомъ и лукавыми глазками. Всѣ при взглядѣ на ея миніатюрную фигурку, подвижную и граціозную, призывали на голову молодой дѣвушки самое завидное и яркое счастье.

И вдругъ этотъ ураганъ, ворвавшійся въ жизнь... Какъ жестоко, какъ невозможно жестоко распоряжается своими пасынками судьба, но еще несправедливѣе бываетъ она, когда поворачиваетъ спину своимъ избранникамъ, привыкшимъ получать отъ нея однѣ только ласки...

Несчастье подкралось самымъ неожиданнымъ образомъ, когда все смѣялось вокругъ, когда лучи свѣтили и грѣли, жизнь и надежда улыбались, грезы

роились, заполняя собою все окружающее, превращая міръ реальнаго въ какую-то чудесную весеннюю сказку...

Но тѣмъ не менѣе несчастье совершилось... Болѣзнь подготовляла себѣ почву уже давно, съ самаго дѣтства, но никому въ голову не приходило, что изъ пустячныхъ недомогательствъ можетъ выйти что-либо серьезное...

Она,—эта розовая дѣвочка, обѣщавшая стать красавицей, — была такъ полна жизнерадостной прелестью, что болѣзнь и горе, подкосившія ее, казались грубымъ и чудовищнымъ насиліемъ судьбы...

Она росла, веселая и радостная, какъ нѣжный, благоуханный цвѣтокъ, и никто не замѣчалъ червя, подтачивающаго его корень.

И вотъ ударъ нанесенъ... Милочка ослѣпла... Ослѣпла почти наканунѣ своей свадьбы, любящая и любимая, готовившаяся дать столько счастья!

Недугъ подкрался незамѣтно... Еще въ дѣтствѣ она отличалась слабымъ зрѣніемъ, но окружающіе не придавали этому особеннаго значенія. Ея мать тоже страдала глазами. Когда же, поступивъ на курсы, Милочка дни и ночи просиживала за книгами, отецъ просилъ ее беречься... Онъ неоднократно предостерегалъ свою дѣвочку не тратить здоровья... Милочка писала успокоительныя письма домой, но книгъ не бросала, несмотря ни на красноту глазъ, сильно увеличившуюся за годы ученья, ни на какой-то туманъ, заволакивавшій зрѣніе. Кончивъ курсы, она съ тою жадностью, съ какой набрасывалась на чтеніе, набросилась на рисованіе.

Этого было достаточно... Невидимый ударъ былъ нанесенъ... Милочка ослѣпла.

Этотъ ударъ поразилъ всю семью, но сильнѣе и больнѣе всего—любимаго человѣка, ея Володю, ея жениха...

Ихъ взаимное чувство казалось чудесной поэмой, такъ какъ оба они были молоды, красивы и отзывчивы на все окружающее, какъ можетъ отзывчива быть одна только молодость.

Владиміръ Васильевичъ Бронинъ встрѣтилъ Милочку среди не совсѣмъ обыкновенной обстановки, на фонѣ зеленой природы, за маленькимъ мольбертомъ, разгорѣвшуюся отъ работы съ вѣрнымъ Дожемъ у ногъ.

Онъ раскритиковалъ картину, немного рисуясь передъ дѣвушкой, раздразнилъ Дожа, полюбовался Милочкой и исчезъ.

Но «что-то» не исчезло... Оно кололо, сверлило, мучило и кружило его до тѣхъ поръ, пока не привело къ сѣрому домику съ зелеными ставнями, гдѣ жилъ докторъ Бирибинъ съ женою и двумя дочерьми.

Въ сѣромъ домикѣ онъ нашелъ солнце, счастье и ту поэму, которую называютъ любовью.

Милочкѣ, пріѣхавшей въ ихъ губернскій городъ по окончаніи высшихъ курсовъ, минуло 20, но вся она, благодаря своей миніатюрности и свѣжести, казалась великолѣпнымъ пятнадцати-лѣтнимъ ребенкомъ. Она была въ мѣру умна и въ мѣру талантлива. Немножко писала, немножко рисовала и пѣла подъ акомпаниментъ гитары, удачно копируя извѣстную модную исполнительницу цыганскихъ

романсовъ. Даже избалованному человѣку такая дѣвушка могла показаться находкой, а Владиміръ Васильевичъ Бронинъ не былъ особенно избалованъ и нѣтъ ничего удивительнаго, если ровно черезъ мѣсяцъ послѣ первой встрѣчи ихъ объявили женихомъ и невѣстой...

И вдругъ этотъ ужасъ...

Немудрено, если въ какую-нибудь недѣлю поблекло и исхудало до неузнаваемости розовое личико бѣдной Милочки.

Бронинъ, однако, все надѣялся... «Спасутъ... вылѣчатъ»,—думалъ онъ, какъ думалъ и отецъ Милочки, посѣдѣвшій отъ горя, какъ думала и старуха Бирибина, которая выплакала всѣ свои слезы по своей любимицѣ. Одна только Ольга, старшая сестра Милочки, пышущая здоровьемъ и энергіей дѣвушка, не потерялась... Она переходила отъ больной матери къ слѣпой сестрѣ, ободряя обѣихъ, умоляя Милочку не плакать, не подрывать послѣднихъ силъ и въ то же время утѣшая пріунывшаго Бронина.

— Ее спасутъ... вылѣчатъ!—повторяла она его собственную фразу, въ то же время отлично сознавая, что не спасти и не вылѣчить ея бѣдной, слѣпой сестренки.

— Милочка... Мила... ты опять плакала! Но вѣдь это ядъ для твоихъ глазъ!—воскликнула она, видя застывшую въ конвульсивномъ рыданіи Милочку.

— Ахъ, оставь меня, ради Бога!—раздраженно восклицала больная, заливаясь новыми слезами.— Мои глаза мертвы, — имъ уже ничто не можетъ

повредить, и вся я мертвая! и не мучь ты меня, Христа ради!—почти кричала она въ изступленномъ отчаяніи, и Ольга отходила отъ нея, едва сдерживая слезы жалости къ этому хрупкому, изболѣвшемуся и до-нельзя измѣнившемуся организму. Но иногда отчаяніе размягчало душу Милочки. Тогда она падала на колѣни передъ отцомъ и сестрою и молила спасти ее во что бы то ни стало...

Сзывали докторовъ, Милочку осматривали, мучили, терзали, но ничего не помогало.

II.

— Перестаньте же, перестаньте! Будьте мужчиной. Не все еще потеряно.

— Но поймите, я люблю ее!

— Да знаю, бѣдный вы мой! Знаю...

Заходящее солнце, багровое на горизонтѣ, освѣщало красноватыми отблесками энергичное, воодушевленное лицо Ольги и склоненную въ безпомощной позѣ фигуру Бронина.

— Перестаньте!

Но помимо воли вздрагивали его сильныя плечи и весь онъ трепеталъ отъ судорожныхъ рыданій. Она, съ почти материнскою лаской, гладила его по головѣ, какъ слабаго ребенка, стараясь во что бы то ни стало успокоить, облегчить его горе.

Она умѣла дѣлать это, сильная духомъ, бодрая дѣвушка съ желѣзною волей и яснымъ взглядомъ. И Бронинъ затихалъ постепенно, чувствуя на своей

головѣ ея большую, скорѣе мужскую, нежели женскую, руку и на своемъ лицѣ ласково-ободряющій взглядъ. Они сидѣли на скамьѣ у обрыва, повисшаго надъ крутымъ берегомъ Волги.

Видя, что его слезы изсякли, Ольга придвинулась къ нему и заговорила тихимъ, спокойнымъ голосомъ:

— Этого надо было ожидать,—утѣшала она,—столько счастья сразу, это почти невѣроятно. Надо быть философомъ. Судьба ей улыбалась все время, Милочка не простая женщина... Это глубоко одаренная натура. И хороша она, какъ ангелъ. Такія не живутъ долго... Имъ слишкомъ мало даетъ земное существованіе. Они избранныя...

— За что? За что?—не слушая ея, повторялъ Бронинъ.

Ему казалось чудовищнымъ это ужасное распоряженіе судьбы.

— Попробуйте молиться!—тихонько проговорила Ольга.

— Молиться! — недобро разсмѣялся онъ.—Но чтобы молиться, — надо вѣровать! А я вѣрую только въ судьбу, въ ея мерзость и злобу, но не въ то, что вы привыкли называть божествомъ.

— Бѣдный вы,—также тихо продолжала дѣвушка,—бѣдные вы оба, потому что и она не можетъ молиться.

— Но она будетъ моей женой! — вскрикнулъ рѣзко, почти грубо Бронинъ.

— Не знаю... право, не знаю. Милочка упорна... Она никогда не измѣняетъ своему слову. Вчера

она говорила, что нѣтъ ничего ужаснѣе положенія матери, не видящей своего ребенка... Но не бойтесь, это могла быть только минутная мысль. И потомъ она любитъ васъ...

— Да... любитъ, если отчаяніе не убило въ ней чувства. Если...

Но Бронинъ не кончилъ...

Прямо на нихъ, освѣщенная красноватымъ отблескомъ, тихой и невѣрной походкой шла Милочка. Ея рука лежала на шеѣ вѣрнаго Дожа, который съ трогательной осторожностью велъ свою слѣпую госпожу.

— Мы здѣсь! Сюда, Милочка!—крикнула Ольга, и бросилась на встрѣчу сестры.

Милочка слегка вздрогнула. По ея блѣдному личику разлился румянецъ. Она протянула впередъ руку, ища опоры.

— Ну что, говорила ему?—тихо освѣдомилась она у подоспѣвшей сестры.

— Нѣтъ, милая, прости. Мнѣ было жаль его... Его отчаяніе ужасно и безъ того... И потомъ, зачѣмъ торопиться, еще не все потеряно...

— Нѣтъ, все!—спокойно произнесла Милочка голосомъ, заставившимъ задрожать сердце Ольги.— Все потеряно,—повторила она еще убѣжденнѣе и глуше.

Потомъ громко позвала Бронина.

— Володя, иди-же сюда! Что ты тамъ дѣлаешь...

Онъ поспѣшилъ къ ней, обнялъ ея тоненькій, хрупкій, какъ стебель, станъ, ставшій невѣроятно легкимъ и воздушнымъ со времени болѣзни.

— Что ты дѣлалъ?—переспросила она.

— Я любовался Волгой и разговаривалъ съ Ольгой Павловной.

— Обо мнѣ, конечно...

— О тебѣ, Милочка.

— И она смалодушничала и не сказала тебѣ то, что я ей наказывала утромъ? Ну, такъ скажу я... Видишь-ли, Володя... ты долженъ понять меня, потому что мной руководитъ здравый разсудокъ... Я тебя очень люблю... ты это зналъ и знаешь, но женой твоей не буду.

— Милочка!

— Не перебивай меня. Ты полонъ великодушія и жалости и принимаешь ихъ за любовь... Но я не хочу жертвы... Я слѣпая... Не такую жену тебѣ надо, Володя... Подумай, что за жизнь будетъ у тебя. А у меня вдвое тяжелѣе. Вѣчное сознаніе, что заѣдаешь чужой вѣкъ, могущій быть счастливымъ и нормальнымъ! Нѣтъ, прости, Володя, и если не хочешь усугубить моего несчастья, отпусти меня съ миромъ.

— Милочка, не убивай меня!—вырвалось у него глухо.—Скажи одно: если ты выздоровѣешь...

— Это будетъ чудо,—горько улыбнулась слѣпая.

— Ну, допустимъ, что такъ... Но если совершится это чудо...—допытывался онъ, хватаясь за соломенку, какъ утопающій.

— То я снова твоя...—докончила она и протянула ему руку.

Они сидѣли теперь всѣ трое, съ Дожемъ у ногъ, на берегу обрыва, подъ которымъ тихо плескалась величавая, спокойно-текущая Волга. Заходящее

солнце обливало тѣмъ-же красноватымъ свѣтомъ и бѣляны, плывущія внизъ по теченію, и высокіе, симетрично обрисованные силуэты Жигулей, казавшіеся далекими, свѣтлыми призраками, и свѣтящійся золотыми куполами на противоположномъ берегу городской соборъ...

И всѣ трое молчали...

III.

Милочка снова ожила и похорошѣла...

Отецъ и мать ободрились... Въ сѣромъ домикѣ съ зелеными ставнями снова засвѣтило солнышно. Милочку везли въ Вѣну, гдѣ появившаяся знаменитость дѣлала чудеса... Эта знаменитость должна была сложной и мучительной операціей воскресить мертвые глаза Милочки.

Въ чудо хирургіи вѣрили родители, сестра и женихъ... Вѣрила и сама слѣпая Милочка ..

Въ комнатахъ сѣраго домика стояли открытые чемоданы, куда заботливая рука Ольги укладывала бѣлье и платье отъѣзжающихъ.

Всю эту недѣлю Бронинъ не ходилъ къ Бирибинымъ по желанію самой Милочки.

— Нѣтъ, нѣтъ,—говорила она,—не надо, чтобы онъ былъ около меня до операціи... Не надо... Я чувствую, что люблю его, какъ никогда, и могу снова взять свое слово обратно, снова обѣщать ему быть его женою, а каковъ еще будетъ результатъ поѣздки—неизвѣстно...

Ее успокоивали, уговаривали повидаться съ Владиміромъ Васильевичемъ, но она твердо стояла на

своемъ. Бронинъ, однако, зналъ обо всемъ, что происходило въ сѣромъ домикѣ, и не посѣщая своей бывшей невѣсты. Ольга каждый вечеръ бѣгала къ обрыву на излюбленную скамеечку и сообщала ему все, что интересовало его относительно любимой дѣвушки.

Эти встрѣчи окрыляли, поддерживали молодого человѣка, давали ему силы и надежду.

Съ какимъ жгучимъ нетерпѣніемъ ждалъ онъ прихода милой дѣвушки, съ какимъ жаромъ цѣловалъ ея руки, благодаря за всѣ ея заботы и попеченія о слѣпой сестрѣ.

— Еще, еще немного—и вы снова будете счастливы, другъ мой,—говорила Ольга, и добрые глаза ея ласково смотрѣли въ печальное лицо собесѣдника.—Я вѣрю, твердо вѣрю въ могущество Бога и Его милосердіе. Профессоръ-хирургъ возвратитъ зрѣніе сестрѣ, я убѣждена въ этомъ...

Но сегодня, наканунѣ отъѣзда, она не рискнула уйти къ обрыву и позвала Бронина въ бесѣдку, одиноко притаившуюся въ углу сада.

Свѣжая августовская ночь горѣла золотыми звѣздами, сіяла мягкимъ и ровнымъ свѣтомъ молодого мѣсяца, шепталась своимъ стройнымъ шопотомъ и пѣла запоздалой трелью какой-то ночной птицы... Бронинъ курилъ, и поминутно вспыхивавшій огонекъ его сигары дрожащимъ свѣтомъ обливалъ измѣненное ночными тѣнями лицо Ольги.

Она говорила своимъ ровнымъ грудным голосомъ, сложивъ на колѣняхъ энергичныя руки и высоко поднявъ къ бѣлому мѣсяцу оживленное, странно похорошѣвшее лицо.

— Отецъ обѣщалъ писать все подробно... до операціи и послѣ... Бѣдная Милочка! Она должна очень страдать...

— И вы позволите мнѣ приходить къ вамъ ежедневно узнавать обо всемъ?

— Ну, конечно... Только знаете что, Владиміръ (она давно уже называла его полуименемъ), не лучше-ли вамъ отправиться за ними?

И, задавъ этотъ вопросъ, Ольга точно чего-то испугалась и смолкла.

Смолкла и птица, выводившая запоздалую трель въ ближнемъ кусту.

Воцарилась тишина, не позволившая, однако, разслышать шелеста платья и мягкихъ шаговъ собаки на влажной отъ ночной сырости дорожкѣ сада.

По аллеѣ, держась за мохнатую шею своего друга, шла слѣпая Милочка.

Ей не спалось эту послѣднюю ночь подъ роднымъ кровомъ; она думала о томъ, какъ мучительна будетъ эта ужасная операція, которая откроетъ ея мертвые глаза. но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ чудно и огромно то свѣтлое счастье. которое ждетъ ее за всѣми этими ужасами. Въ результатѣ операціи она уже не сомнѣвалась...

Она снова вѣрила въ судьбу, такъ недавно еще баловавшую ее. И теперь, поднявъ къ небу блѣдное личико съ слѣпыми, но все-же прекрасными глазами, она довѣряла кому-то Сильному и Справедливому свою молодую жизнь...

И не вѣрующая до сихъ поръ начинала вѣрить. Какъ немощное дитя, которое жмется къ матери,

инстиктивно ища у нея поддержки, она стремилась теперь къ великой защитѣ Того, Кто, казалось ей, смотритъ на нее съ ночного неба золотыми глазами мерцающихъ звѣздъ... Она не видѣла, но чувствовала это...

Разговоръ въ бесѣдкѣ достигъ ея слуха.

— Тубо, Дожъ,—шепнула она насторожившей уши собакѣ, и ласково ведя рукой по ея мохнатой спинѣ, двинулась дальше.

И собака, понявъ, чего желала госпожа, стала неслышной.

Тихо, тихо двигались они по аллеѣ, и собака и дѣвушка, прямо къ бесѣдкѣ, за которой ясно слышались два голоса.

Въ то время, какъ Милочка была совсѣмъ близко, Ольга повторила свой вопросъ Бронину:

— Почему вамъ не поѣхать слѣдомъ за ними?

— Нѣтъ, нѣтъ, это новозможно!—вырвалось у него порывомъ.

— Но почему?

— Почему?.. да, почему?..

Онъ могъ, конечно, оправдаться тѣмъ, что на это не было желанія Милочки, но языкъ не слушался разсудка.

А сердце говорило,—говорило краснорѣчиво и пылко о томъ, что уѣдетъ онъ и не будетъ около него этой сильной, чистой дѣвушки съ ея здоровыми идеями и здоровой красотою... Не будетъ этихъ необъяснимо-прелестныхъ вечеровъ въ темной бесѣдкѣ, ни этихъ бѣлыхъ энергичныхъ рукъ и милаго голоса такъ близко, близко отъ него.

«Боже мой! Боже мой!—ловилъ онъ себя на

этой мысли.—Что я дѣлаю! Счастье, созданное на горѣ Милочки!»

Такъ твердилъ разсудокъ... Но голосъ его былъ слабъ въ сравненіи съ голосомъ сердца... А эта чудная ночь такъ сильна къ тому-же своей подавляющей лаской!

И, не владѣя собою, онъ взялъ въ свои ея сильныя руки и скорѣе простоналъ, чѣмъ сказалъ:

— Я люблю васъ! Васъ люблю я, поймите!

Ольга отодвинулась, взволнованная этимъ наплывомъ чувствъ, которыхъ пугалась и желала тайно, и, качая головою, прошептала:

— Молчите, молчите ради Бога!

На минуту ужасъ захолодилъ ея сердце при одной мысли о бѣдной слѣпой Милочкѣ.

Но только на минуту...

Развѣ сама она не любила его... И не было-ли за нею права, выстраданнаго ею? И развѣ сильная и беззавѣтная любовь ея не притянула его къ ней силою какого-то властнаго инстинкта?..

Ея руки дрожали, освобождаясь изъ его горячихъ ладоней, а голосъ лепеталъ прерываясь:

— Не теперь... Не теперь только... Молчите же... Молчите... О, Господи!

— Господи!—безслышно повторили за нею похолодѣвшія губы слѣпой дѣвушки, притаившейся за дощатой стѣной бесѣдки, и она подняла къ небу блѣдное, лицо, искаженное мукой...

IV.

Ужасъ и горе снова повисли надъ сѣрымъ домикомъ. Милочка, блѣдная и рѣшительная, какою никто еще никогда ея не видѣлъ, категорически отказалась отъ поѣздки въ Вѣну, мотивируя свой отказъ страхомъ и предчувствіемъ дурного исхода операціи...

Ее уговаривали, упрашивали, молили... Но она упорно стояла на своемъ...

— Лучше жить слѣпою, нежели умирать подъ ножомъ хирурга,—упрямо твердила она.

И наотрѣзъ отказалась ѣхать...

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ольгу и Бронина благословляли въ уютной маленькой залѣ сѣраго домика...

Это была здоровая, сильная, на-диво подобранная пара...

Нѣсколько крупная фигура Ольги въ бѣломъ вѣнчальномъ нарядѣ съ вѣткой цвѣтовъ на гладко зачесанныхъ волосахъ не могла не возбудить общаго шопота удовольствія...

Ольга была счастлива, потому что любила и была любима...

Ея сестра, блѣдная слѣпая Милочка, устроила ея свадьбу, отказавъ наотрѣзъ Бронину, ссылаясь на свою полную апатію къ жизни, указывая ему на Ольгу, какъ на самую подходящую жену, могущую дать ему семейное счастье...

И она благословила ихъ...

Свадьба состоялась...

Передъ тѣмъ, какъ ѣхать къ вѣнцу, «молодая» прошла въ комнату сестры.

Милочка сидѣла у камина въ бѣломъ платьицѣ. У ногъ ея пріютился Дожъ, ея неизмѣнный товарищъ..

— Ты счастлива, дорогая?—нѣжнымъ, мягкимъ голосомъ спросила она вошедшую Ольгу, въ то время, когда та благодарила ее долгимъ поцѣлуемъ.

Онѣ обнялись крѣпко, сердечно...

— Ты будешь счастлива!—убѣдденно произнесла она, провожая сестру до дверей, и нѣжно перекрестила ее вслѣдъ.

Но когда бѣлая фигура Ольги исчезла за дверью и шаги ее затихли въ отдаленіи, Милочка заложила надъ головой хрустнувшія въ суставахъ руки и, упавъ головой на кушетку, зарыдала глухо и отчаянно, заглушая и давя свои слезы. Въ этихъ рыданіяхъ выливалась и горькая жалоба на судьбу и горечь сознанія не по силамъ принесенной жертвы.

Теперь она могла лѣчить и мазать свои мертвые глаза. Ихъ воскресеніе не убило-бы счастья Ольги. Какъ зло посмѣялась надъ нею судьба! О, она не захочетъ быть зрячей, чтобы видѣть чужое счастье, которымъ могла бы пользоваться сама!

И Милочка душила слезы, лившіяся обильными каплями по ея исхудавшимъ щекамъ. Вдругъ что-то влажное и теплое коснулось ея горячаго лба. Она вздрогнула въ испугѣ, но тотчасъ-же успокоилась,

ощутивъ подлѣ своей головы мохнатую голову своего друга.

— Доженька!—милый! одинъ ты у меня на свѣтѣ!—тихо и жалобно пролепетала слѣпая и обняла умильно-глядѣвшую на нее добрую морду собаки.

Животное, какъ-бы сочувствуя скорби своей слѣпой госпожи, лизало ея лицо и руки, стараясь утѣшить ее своей собачьей вѣрной лаской.

А однообразно-гулкій осенній дождь тяжелыми каплями падалъ на крышу, еще больше усиливая гнетущую тоску одиночества...

Отъ сѣраго домика съ грохотомъ и шумомъ отъѣхала карета...

Счастливая чета торопилась въ церковь, забывъ въ эту минуту весь міръ въ тѣсномъ эгоизмѣ счастья...

А въ уютной комнатѣ на мягкой кушеткѣ у потухающаго камина сидѣли два одинокія, забытыя существа – блѣдная слѣпая дѣвушка и мохнатый Дожъ, ея вѣрный другъ и товарищъ...

Безсмертіе

I.

Когда Ро Сі-Энгъ продѣлываетъ свои штуки, Ай-Мэ стоитъ у второй кулисы и сухими воспаленными глазами слѣдитъ за каждымъ движеніемъ гимнаста... Она знаетъ, что Ро ловокъ и силенъ, какъ бенгальскій тигръ, но черные духи злы и коварны и судьба Ро въ ихъ рукахъ.

Сегодня Ай-мэ стоитъ у второй кулисы, но мало заботится о движеніяхъ Ро... Ея маленькое сердечко сжимается и бьется сильнѣе обыкновеннаго...

Сегодня она видѣла снова рыжую англичанку въ первомъ ряду партера... Ай-Мэ не могла ошибиться—это она. Ея шляпа съ длиннымъ перомъ до самаго плеча, ея четыре глаза, два свои и два стеклянные. Если приложить ладонь къ переносицѣ и защитить глаза отъ ударяющей въ нихъ рампы электричества, то можно видѣть темный партеръ и «четырехглазую». О, какъ Ай-Мэ ее ненавидитъ! Какъ ненавидитъ за ея высокій ростъ и бѣлую шляпу съ перомъ, спускающимся до самаго плеча, и за ея четыре глаза... На прошлой недѣлѣ англичанка пробралась къ нимъ за кулисы съ господи-

номъ въ высокой, какъ труба, шляпѣ и попросила капельдинера вызвать Ро.

Ро и Ай-Мэ одѣвались вмѣстѣ... и когда Ро вышелъ изъ уборной, на ходу пристегивая пряжку пояса, Ай-Мэ жадно прильнула къ дверямъ и слушала, слушала, слушала...

Четырехглазая говорила Ро о его мускулахъ и Ай-Мэ отлично видѣла, какъ она трогала Ро повыше локтей, тѣ самыя мѣста, гдѣ у Ро наливаются два толстые и упругіе шара, при малѣйшемъ напряженіи силы. Потомъ она что-то долго говорила на чужомъ языкѣ съ сопровождавшимъ господиномъ, Ай-Мэ знала только, какъ и Ро свой родной языкъ да немного французскій и изъ того, что она говорила, четырехглазая, она могла только понять, что послѣдней нравится тѣло Ро, и что она будетъ лѣпить съ него статую, для чего и проситъ его приходить ежедневно въ ея мастерскую. Ро тщеславенъ и обожаетъ лесть... Онъ вернулся въ уборную съ сіяющимъ лицомъ.

— А, ты слышала, куколка? — подмигнулъ онъ тогда Ай-Мэ.

— Ты не пойдешь... не надо... не хочу!..—залепетала Ай-Мэ и такъ больно вцѣпилась своими крашеными пальцами, съ крашеными ноготками въ руку Ро, что алая струйка крови выступила на ней мгновенно и окрасила розовое трико гимнаста.

— Потише, куколка!—злобно прикрикнулъ взбѣшенный Ро и отбросилъ однимъ движеніемъ пальцы Ай-Мэ такъ, что она больно стукнулась о дверь уборной...

Если-бы Ай-Мэ умѣла плакать, она заплакала бы...

*

Но черные глазки маленькой женщины не знали слезъ съ дѣтства и потомъ... Если она забыла, что была женою силача и гимнаста, кто же виноватъ въ этомъ?

II.

Ай-Мэ стоитъ у второй кулисы и, прикрывъ свое лицо опрокинутой внизъ ладонью, смотритъ жадно, смотритъ въ упоръ на четырехглазую англичанку... Ай-Мэ отлично видитъ, какъ безцеремонно скользятъ всѣ ея четыре ненавистные глаза по фигурѣ Ро... Она видитъ, что у четырехглазой большой горбатый носъ и густо взбитые, наподобіе парика рыжіе волосы... и Ай-Мэ хочетъ имѣть такой же носъ, такіе же волосы, чтобы занять ими воображеніе Ро Сі-Энга. Она сама Ай-Мэ слишкомъ мала и ничтожна, чтобы быть любимой такимъ силачемъ и красавцемъ какъ Ро. Ро совсѣмъ европеецъ и въ этомъ то и есть его преимущество. И потомъ его фигура атлета, и узкіе прекрасные глаза и изжелта матовая кожа, на которой монгольская раса оставила едва уловимый слѣдъ, все это прекрасно и способно заставить любоваться и не одну четырехглазую.

Ай-Мэ видитъ со своего мѣста всю фигуру Ро, затянутую въ розовое трико и кажущуюся при свѣтѣ наведеннаго на нее электричества почти обнаженной.

Она невольно ловитъ взглядъ Ро, устремленный въ партеръ, и ей уже кажется, что Ро улыбается четырехглазой...

— Онъ не пойдетъ, онъ не пойдетъ туда!—упрямо твердитъ Ай-Мэ и сжавъ крошечной рученкой свое щемящее сердечко выбѣгаетъ на сцену для исполненія труднаго номера.

III.

А онъ труденъ... безспорно... Это говорятъ всѣ... И Ай-Мэ не можетъ не гордиться собою. Ро ставитъ на свой подбородокъ длинный шестъ на верху котораго, на одной ногѣ, отчаянно балансируя въ воздухѣ, стоитъ Ай-Мэ. Сѣтки нѣтъ подъ нею и одно неосторожное движеніе губы Ро, можетъ Ай-Мэ стоить жизни.

Но она не боится... Ей доставляетъ острое наслажденіе чувствовать себя и свою жизнь въ зависимости отъ Ро. Захоти Ро и она умретъ... Умретъ безъ сожалѣнія и муки, потому что это будетъ желаніемъ ея Ро, ея господина. Она его любитъ, какъ собака. Для него одного надѣваетъ она всѣ свои дорогія бездѣлушки, для него только вкалываетъ пурпуровыя орхидеи по обѣ стороны блестящей черной головки...

Когда Ро, послѣ выпитой русской водки бьетъ ее—это даетъ ей острое ощущеніе физическаго наслажденія.

Когда ласкаетъ...

Когда ласкаетъ!.. О!..

Тогда Ай-Мэ закрываетъ глаза, чтобы ясно представить себѣ набережную Токіо, гдѣ она впервые встрѣтила Ро... Океанъ тогда былъ свѣтлый и синій... Онѣ съ матерью спѣшили домой!.. Онъ встрѣ-

тился имъ и улыбнулся... Улыбнулась и она, и съ этой улыбкой отдала ему жизнь...

Они объѣхали всю Европу; онъ выучилъ ее всѣмъ труднымъ пріемамъ своего искусства и она была счастлива... Онъ звалъ ее куколкой и баюкалъ на своихъ сильныхъ рукахъ, какъ ребенка... Да, она была счастлива, даже тогда, когда онъ билъ ее... Пока...

Пока не явилась четырехглазая...

Ро любитъ лесть больше всего въ мірѣ... А четырехглазая умѣетъ отравить его сладкой отравой лести. Она умѣетъ хвалить его тѣло и мускулы, въ то время, какъ Ай-Мэ токько и можетъ сказать: «Господинъ мой».

И цѣловать его ноги...

И четырехглазая своими похвалами раздражаетъ его тщеславіе... Все это вертится въ кукольной головкѣ Ай-Мэ, въ то время, какъ она балансируетъ на своемъ шестѣ такъ высоко, высоко. И мысль работаетъ безъ устали, повторяя одинъ и тотъ же вопросъ: «Чѣмъ вернуть Ро? Чѣмъ разбить чары четырехглазой?»

IV.

Большая крытая веранда буфета съ безчисленными столиками кишитъ народомъ. Пантомиму только что кончили... и вся публика торопится занимать мѣста.

Ро и Ай-Мэ ходятъ между столиками по широкому среднему проходу. Онъ уже не въ трико, а въ модномъ европейскомъ пальто и въ такой же шляпѣ. Маленькая фигурка Ай-Мэ тонетъ въ бѣломъ и воздушномъ, какъ облако, мѣхѣ. Петербург-

ская осень даетъ себя знать и маленькая японочка боится простуды. Прелестной выглядитъ ея головка, немножко неподвижная въ рамкѣ бѣлаго мѣха, черная какъ мушка съ двумя еще не завядшими орхидеями за ушами. На нее смотрятъ, ею любуются... Ай-Мэ видитъ дерзко и ласково устремленные на нее взгляды.. Слышитъ заигрывающій шопотъ мужчинъ... Но ей все равно.

Все равно, потому что Ро не любуется ея...

Ро не смотритъ на нее. Онъ ищетъ среди публики свою четырехглазую. Вотъ взоры его загораются удовольствіемъ... Онъ увидѣлъ ее съ ея кавалеромъ у крайняго столика и идетъ къ нимъ такъ скоро, что Ай-Мэ едва успѣваетъ за нимъ...

— Ро,—шепчетъ она тихонько,—не ходи туда.

Но Ро ее не слышитъ.

— Ты подожди меня, куколка,—шепчетъ онъ ей въ свою очередь,—подожди за этимъ столикомъ. Я сейчасъ.

О, это уже слишкомъ! Ждать его, пока онъ будетъ слушать четырехглазую, ждать послѣ того, когда онъ самъ позвалъ ее угостить сладкимъ виномъ. Она не хотѣла идти... Но онъ коротко сказалъ: «Пойдемъ, куколка!» и она пошла. Теперь онъ бросилъ ее, оставивъ одну среди шумной и равнодушной толпы.

Правда, крытая веранда ей давно знакома, знакомы ей и нѣкоторыя лица завсегдатаевъ сада, не разъ подносившихъ ей цвѣты и букеты черезъ оркестръ, но никогда еще не чувствовала она себя такой одинокой, такой затерянной среди большого міра...

Ро уже былъ около столика четырехглазой, когда

къ ней подошли двое военныхъ, лица которыхъ она давно уже замѣтила въ первомъ ряду партера Одинъ высокій и длинный какъ шестъ Ро, другой маленькій и очень красивый, съ массою висюлекъ на синей курточкѣ. Ай-Мэ знаетъ только, что маленькій гусаръ и что онъ подноситъ ей корзины черезъ оркестръ.

— Прелестная японочка! не хотите-ли поужинать съ нами?—говоритъ длинный, а гусаръ только ласково щуритъ на нее свои блестящіе глаза.

Ай-Мэ вздрагиваетъ отъ неожиданности.

Ужинать съ ними? Нѣтъ, нѣтъ!

Но почему нѣтъ? Вѣдь Ро Сі-Энгъ сидитъ со своей четырехглазой и Ай-Мэ отлично видитъ, что ея кавалеръ льетъ ему въ граненый бокальчикъ пѣнящееся вино.

Онъ изобьетъ Ай-Мэ до полусмерти, если увидитъ, что она ужинаетъ съ русскими...

Такъ что-жъ! По крайней мѣрѣ онъ будетъ принадлежать ей хоть одну минуту... И его мысли и его сердце гнѣвное, взбѣшенное, будетъ все-таки полно ею!

Рѣшено. Она приметъ приглашеніе русскихъ и будетъ ужинать съ ними и пить сладкое вино.

И она съ улыбкою чуть-чуть киваетъ головою...

V.

— У меня есть рубиновое ожерелье... У меня есть кольцо съ изумрудами... и ткани, много тканей... яркихъ, красивыхъ...—такъ лепечетъ Ай-Мэ заплетающимся языкомъ.

Сладкое вино сдѣлало свое дѣло...

Ай-Мэ пьяна... Пьяна, какъ старшій надсмотрщикъ за звѣрями ихъ сада.

Оба офицера любуются ею и смѣются... Гусаръ съ висюльками на курточкѣ отыскалъ подъ столомъ маленькую ножку Ай-Мэ и нѣжно пожимаетъ ее своей лакированной ботинкой.

Ай-Мэ смѣется и повторяетъ въ сотый разъ хвастливо и радостно:

— У меня есть рубиновое ожерелье и много тканей голубыхъ и красныхъ...

— У тебя нѣтъ брилліантовой броши, малютка,— смѣясь вторитъ офицеръ,— но она у тебя будетъ.

— Да, да будетъ!—еще радостнѣе лепечетъ Ай-Мэ, плохо сознавая, что съ ней творится.

— А ты меня за это поцѣлуешь!

— Да, да поцѣлую! Конечно, поцѣлую! —упрямо твердитъ она и хохочетъ громче прежняго.

Съ сосѣднихъ столиковъ на нихъ безпокойно поглядываетъ чопорное нѣмецкое семейство... Но Ай-Мэ все равно до цѣлаго міра... Она хохочетъ во все горло и поминутно выглядываетъ въ сторону столика, гдѣ со своими новыми друзьями ужинаетъ Ро. Но онъ не видитъ Ай-Мэ... Онъ такъ занятъ своимъ разговоромъ съ четырехглазой, что тоже, какъ кажется, забываетъ обо всемъ окружающемъ.

Ай-Мэ становится не до смѣха.

— Уйду!—тянетъ она капризно и дѣлается совсѣмъ похожей на ребенка. И слаба она какъ ребенокъ, хочетъ встать и не можетъ... Голова кружится, ноги не держатъ.

— Prete!—говоритъ гусаръ своему товарищу.

— Un peu trop pochée,—отвѣчаетъ тотъ.

И оба хохочутъ...

VI.

— Я ужинала съ русскими!

Молчаніе.

— Я пила сладкое вино.

Новое молчаніе...

Что-же это?..

— Ро! Ро! очнись! забудь о четырехглазой...

И бѣдняжка Ай-Мэ прыгаетъ на грудь Ро и впивается въ его глаза почти безумнымъ взглядомъ. Но ему все равно... Онъ равнодушенъ... Онъ думаетъ столько-же о своей Ай-Мэ, сколько о продѣлкахъ клоуна Боба.

А глаза его блестятъ и въ нихъ, какъ въ книгѣ, читаетъ Ай-Мэ.

— Ро!—отчаянно шепчетъ она.—Ты думаешь о четырехглазой?

Онъ не слышитъ... До боли впиваются острые маленькіе зубки въ губы Ро.

— Ро,—шепчетъ она настойчивѣе,—о чемъ она тебѣ говорила?

Тогда онъ точно просыпается... На его груди какъ кошка умостилась маленькая женщина...

Жаль, что эта женщина—куколка, его жена. Но когда нѣтъ никого, съ кѣмъ-бы онъ могъ подѣлиться, онъ подѣлится съ нею... Ему надо говорить о томъ, чѣмъ полна его душа и мысли.

И онъ говоритъ.

Говоритъ о томъ, что англійская дѣвушка обѣщаетъ ему безсмертіе... О томъ, что когда онъ Ро Сі-Энгъ уѣдетъ изъ Россіи, о немъ не позабудутъ... Умретъ, и тогда не позабудутъ...

Четырехглазая слѣпитъ его статую... Бѣлую настоящую статую, какую они видѣли въ Токіо и которая изображаетъ ихъ императрицу... Эту статую разошлютъ по всему міру и вся Европа будетъ любоваться красотой и мускулами великаго гимнаста Ро Сі-Энга. И имя его увѣнчается безсмертіемъ. Четырехглазая обѣщаетъ ему это безсмертіе.

Ай-Мэ слушаетъ его... Глаза ея широко расширены и блестятъ такъ, что становятся страшными. Она не вѣритъ и не понимаетъ того, что ей говоритъ Ро. Одно только понимаетъ и чувствуетъ Ай-Мэ.

Для того, чтобы стать безсмертнымъ, Ро долженъ идти въ мастерскую четырехглазой и быть съ нею все время, пока не окончится работа статуи. И этого она не хочетъ и не можетъ допустить. Одна мысль объ этомъ наполняетъ бѣшенствомъ ея сердечко куколки.

— Ро,—кричитъ она не своимъ голосомъ,—ты не пойдешь, Ро!.. не пойдешь.

— Пойду!—однимъ словомъ отвѣчаетъ Ро, но такъ рѣшительно, что она не можетъ въ немъ сомнѣваться.

Онъ пойдетъ къ четырехглазой!

Тогда внѣ себя сжимаетъ она его шею на сколько можетъ больно и шепчетъ, задыхаясь отъ любви и злобы.

— Не пойдешь, не пойдешь, Ро!

Она точно безумная. Ея зубы щелкаютъ, какъ въ лихорадкѣ... Все ея маленькое тѣло бьется и содрогается на его могучей груди. Ея пальцы, какъ каленыя иглы жгутъ его шею, едва причиняя ему боль.

— Я пойду послѣзавтра, слышишь ты, куколка?— еще тверже повторяетъ Ро, еще рѣшительнѣе его глаза загораются знакомыми Ай-Мэ огоньками бѣшенства.

— Пусть бьетъ, пусть убиваетъ, только не ходитъ къ той,—мысленно твердитъ Ай-Мэ и сильнѣе обвивается пальцами вокругъ его шеи.

Ро Сі-Энгомъ овладѣваетъ порывъ ярости. Женщина—раба, женщина—собственность, смѣетъ разговаривать. О!..

Онъ грубо сбрасываетъ ее со своей груди и бьетъ такъ, что искры сыпятся изъ глазъ бѣдняжечки Ай-Мэ... Она ликуетъ...

VII.

Электричество горитъ нестерпимо ярко...

Сегодня этотъ свѣтъ болѣзненно рѣжетъ глаза Ай-Мэ. Ея тѣло ноетъ отъ вчерашнихъ побоевъ, но сердце не ноетъ...

Сердце рѣшило...

Вчера, когда Ро, избившій ее до полусмерти, уснулъ въ ихъ общей широкой номерной постели, Ай-Мэ рѣшила...

Она вынула изъ висячей походной кумирни всѣхъ своихъ маленькихъ божковъ и молилась имъ и просила...

Просила, чтобы Ро не пошелъ завтра къ четырехглазой, обѣщавшей ему безсмертіе... Просила, чтобы духи свѣта просвѣтили ея кукольный умъ и послали ей мысль, какъ удержать Ро Сі-Энга.

И свѣтлые духи вняли молитвѣ маленькой женщины.

Мысль явилась... блеснула ярко...

Ай-Мэ рѣшила... Она удержитъ Ро, онъ не пойдетъ завтра послѣ репетиціи къ четырехглазой. Онъ останется съ нею и будетъ съ нею до тѣхъ поръ... пока...

Ай-Мэ смотритъ попрежнему въ кипящій публикой партеръ.

Вонъ ненавистная голова въ бѣлой шляпѣ съ перомъ до плеча... Она постоянно въ своемъ креслѣ. Она улыбается Ро... потому что считаетъ себя высокой и красивой, а ее, Ай-Мэ, маленькой и ничтожной. Она умѣетъ давать безсмертіе, когда Ай-Мэ умѣетъ только любить.

Любить и ласкать...

Этого мало, надо большаго. Надо давать безсмертіе...

Умѣй она дѣлать статуи, увѣковѣчивать ими имена славныхъ, Ро Сі-Энгъ не ушелъ-бы отъ нея никогда...

Ро Сі-Энгъ...

Куколка смотритъ на него и никогда онъ не кажется ей такимъ ловкимъ и красивымъ, какъ сегодня...

Трико оттѣняетъ малѣйшіе изгибы его тѣла и глаза горятъ какъ два громадныхъ полярныхъ солнца... Ай-Мэ смотритъ и не можетъ насмотрѣться на Ро...

Сейчасъ она выйдетъ... Сейчасъ взберется на шестъ поставленный на подбородкѣ мужа, сейчасъ будетъ балансировать на своей опасной высотѣ...

Сейчасъ свѣтлые духи помогутъ ей не пустить Ро къ четырехглазой...

Яркая рампа ударяетъ ей по глазамъ нестерпимымъ свѣтомъ...

— Быстрѣй, куколка! — кричитъ ей по-японски Ро. Онъ всегда говоритъ одну и ту же фразу, при началѣ ея опасныхъ упражненій.

И сегодня говоритъ то-же...

Но Ай-Мэ не надо учить... Она сама знаетъ, что когда дѣлать. Сердца сжимаются при видѣ ея ловкой, маленькой фигурки, съ кошачьей ловкостью взбирающейся по шесту.

Вотъ она на его вершинѣ... Вотъ ступаетъ одной ножкой на крошечную площадку... Другая виситъ на воздухѣ... Она балансируетъ ею и обѣими крошечными ручонками... Публика отчаянно апплодируетъ, заглушая звукъ оркестра... Голова Ро Сі-Энга запрокинута на спину, но Ай-Мэ видитъ его глаза, сіяющіе при свѣтѣ электричества, какъ два полярныя солнца.

Эти глаза сулятъ ей счастье... Они всегда сулятъ счастье, пока не удастся трудный номеръ... Потомъ они холодные и спокойные и почти не свѣтятъ ей... Ай-Мэ въ минуту соображаетъ все это. Ее охватываетъ безуміе. Не свѣтятъ ей.. такъ пусть не свѣтятъ и четырехглазой, по крайней мѣрѣ сегодня!

— Ты не пойдешь къ ней! — отчаянно вскрикиваетъ она по японски и, широко взмахнувъ руками,

летитъ плашмя на деревянный полъ сцены съ 3-хъ-саженной высоты . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Свѣтлые духи сдѣлали свое дѣло... Они научили Ай-Мэ какъ не отпустить Ро Сі-Энга къ рыжей дѣвушкѣ... Но дорого Ай-Мэ платится за это... Чтобы помѣшать дать безсмертіе имени Ро, она отдаетъ свою жизнь...

Но она счастлива... Безконечно...

Она видитъ синій океанъ, и набережную Токіо и себя Ай-Мэ съ двумя орхидеями у ушей алыми, какъ пурпуръ... И его улыбку видитъ Ай-Мэ, улыбку Ро, прекрасную, какъ безсмертіе... Онъ тутъ около... Ея холодѣющая рука лежитъ въ его горячихъ пальцахъ... Его ухо, силясь разслышать ея умирающій лепетъ, близко, совсѣмъ близко у ея груди..

— О, Ро!—шепчетъ она въ истомѣ смерти...— О, Ро!.. теперь ты не пойдешь къ четырехглазой!

„Мальчишка“.

— Ну, есть-ли терпѣніе съ этимъ ребенкомъ. Царица Небесная, не за грѣхи-ли онъ посланъ мнѣ!— восклицала съ неподдѣльнымъ ужасомъ добрая тетушка Агнія, тряся разноцвѣтными лентами своего бѣлаго чепца.

Тетушка Агнія, обыкновенно тихая и кроткая, съ утра до вечера занятая плетеніемъ кружевъ, теперь просто ходуномъ-ходитъ отъ шалостей этого ребенка.

А ребенокъ, возбуждающій справедливое негодованіе доброй тетушки, или, вѣрнѣе, смуглая, черноглазая и черноволосая Женни, уже болѣе получаса гоняется за поросятами по двору. Ей, кажется, доставляетъ невообразимое удовольствіе мучить бѣдныхъ животныхъ, предварительно спугнувъ ихъ внезапнымъ нападеніемъ.

— И глупая собака Сѣрко туда-же!.. Носится съ оглушительнымъ лаемъ. Чудный примѣръ подаетъ ему Женни! Ну, и племянница! Есть-ли терпѣніе съ нею? Мальчишка, настоящій мальчишка!

Бѣлый чепецъ тетушки грозитъ свалиться съ ея тыквообразной головы. Разноцвѣтныя ленты развѣваются вокругъ раскраснѣвшагося лица, на кото-

ромъ застыло выраженіе недоумѣнія, ужаснаго недоумѣнія...

Бѣдная тетушка Агнія!

Вотъ уже 20 лѣтъ проживала она въ своемъ маленькомъ имѣніи Курской губерніи, надѣясь провести мирно и тихо остатокъ дней своихъ, какъ вдругъ внезапное извѣстіе отъ брата вверхъ дномъ перевернуло весь строй тихой жизни доброй тетушки.

Братъ, путешествующій всю свою жизнь съ научными цѣлями, просилъ ее, за нѣсколько тысячъ верстъ разстоянія, взять изъ института оконч ившую курсъ «его сиротку» и пріютить «до времени» у себя въ имѣніи. Если-же до его возвращенія, — этими строками заканчивалось письмо, — найдется хорошій человѣкъ, который составитъ приличную партію Женни, то онъ заранѣе даетъ согласіе на бракъ дочери.

И при всемъ томъ прилагалась внушительная сумма въ 50 тысячъ на все необходимое «для малютки».

Приличная партія, 50 тысячъ и сама «малютка», какъ громы небесные сразили бѣдную тетушку. Она положительно лишилась сна и аппетита, не явившихся и съ пріѣздомъ этой «малютки», оказавшейся полу-дѣвушкой, полу-мальчишкой, съ рѣзкими манерами и звонкимъ голосомъ. По мнѣнію тетушки она даже и не красива... даже дурна... положительно дурна собою... Глаза черные, черные какъ черешни, съ круглыми изсиня-бѣлыми бѣлками, зубы острые, какъ у волченка, и ротъ крупный, яркій, смѣющійся... Ну, прямо-таки неприличный ротъ для барышни!

Однимъ словомъ, цыганка, совсѣмъ цыганка... И при этомъ какая-то необузданность, стремительность и вѣчное, неумѣстное веселье... И это барышня! Но, Боже мой, чему же ихъ учили въ институтѣ? Скромность — первая наука, по мнѣнію тетушки Агніи, а Женни настоящій мальчишка. О, когда она, тетушка, была молоденькой барышней (барышней добрая тетушка оставалась и по сію пору), могла-ли она скакать по полямъ на лошади, безъ сѣдла, верхомъ (о, ужасъ!), вцѣпившись руками въ гриву, какъ это дѣлаетъ Женни, или цѣлыми часами гоняться по двору съ собаками, испуская дикіе крики. А онъ мечтаетъ о партіи... партіи этому мальчишкѣ!

Тетушка почти задыхается отъ прилива негодованія, ленты пляшутъ дикій танецъ вокругъ ея раскраснѣвшагося, какъ піонъ, лица...

И сегодня, какъ на-зло, сегодня Женни хуже обыкновеннаго, а она, тетушка, такъ разсчитывала на этого доктора... Дзянскаго... Добрянскаго... какъ его... Ну, однимъ словомъ, о «приличной партіи» Женни.

Это новый земскій врачъ, который не сегодня-завтра пріѣдетъ съ визитомъ... Для него-то новый чепецъ съ еще болѣе радужнымъ уборомъ торжественно возсѣдаетъ на макушкѣ тетушки.

Балконная дверь распахнулась съ грохотомъ и шумомъ... Ну, не мальчишка-ли это? Волосы спутаны... Глаза, какъ у разбойника!

— Что съ тобою?—въ ужасѣ восклицаетъ тетушка.

Женни смотритъ въ недоумѣніи. Что съ нею? Голова на мѣстѣ, руки и ноги тоже.

— Сударыня, не угодно-ли вамъ привести себя въ порядокъ,—дрожа отъ негодованія, говоритъ тетушка,—да посидите часъ спокойно на мѣстѣ, у насъ будутъ гости!

— Ужъ не докторъ-ли, о которомъ вы говорили, тетушка?—догадывается она.

— Именно докторъ, сударыня.

— Но я-же здорова, да и вы, тетушка.

О, эта наивность! Она воображаетъ, что докторъ долженъ только лѣчить.

Тѣмъ не менѣе тетушка собираетъ все свое мужество и читаетъ наставленіе Женни, какъ надо держать себя.

Подъ окномъ захрустѣлъ песокъ, мелькнула сѣрая шляпа... Тетушка машинально оправляетъ чепецъ и дѣлаетъ Женни отчаянные знаки уйти.

Но Женни и не думаетъ слушаться. Она впивается любопытными глазами въ молодого человѣка съ красивымъ загорѣлымъ лицомъ и коротко подстриженной бородкой. Онъ, въ свою очередь, несказанно пораженъ видомъ дѣвушки, растрепанной, смуглой и красной, но тѣмъ не менѣе чрезвычайно миловидной.

— Левъ Александровичъ Брянскій, — представляется онъ тетушкѣ.

Та хочетъ познакомить его съ Женни... Но, о, ужасъ! Женни уже нѣтъ на прежнемъ мѣстѣ!

— Θекла! Θекла!—неистово кричитъ тетушка,—позовите барышню, скажите, чтобы шла сейчасъ.

Бѣдная тетушка! Она не воспитывалась въ институтѣ и сдѣлала промахъ, вызвавшій легкую улыбку на лицѣ доктора.

*

Женни уже стоитъ въ дверяхъ, чинная и приглаженная; около нея Сѣрко. Непринужденно подаетъ она Брянскому свою тоненькую, смуглую ручку.

— Чернушка,—мысленно говоритъ Левъ Александровичъ,—но какая милая, славная чернушка!

Онъ разспрашиваетъ ее о деревнѣ, о поляхъ, о Сѣрко. Она отвѣчаетъ совсѣмъ, какъ подобаетъ барышнѣ, окончившей курсъ въ столичномъ институтѣ. Тетушка успокаивается. По лицу ея расползается блаженная улыбка... Брянскій заводитъ рѣчь объ институтѣ.

— О, она великолѣпно училась, — неожиданно восклицаетъ тетушка (не ученая лѣнтяйка, по ея мнѣнію, не можетъ остановить на себѣ вниманіе доктора), —великолѣпно, особенно по Закону Божьему (религіозность—это гарантія въ данномъ случаѣ, мелькаетъ въ услужливомъ мозгу тетушки). Сколько тебѣ было по Закону, Женни?

— Пять.

И цыганскіе глаза шаловливо искрятся.

— Ну, да, у нихъ пяти-бальная система,—поясняетъ довольная тетушка.

— Нѣтъ,—неожиданно заявляетъ Женни,—при двѣнадцати-бальной—пять, и изъ педагогики пять, а изъ исторіи три, и изъ географіи три, а тамъ все колы, колы, колы... — и глаза уже совсѣмъ смѣются.

Боже мой, что сталось съ этимъ ребенкомъ? Тетушка какъ на иголкахъ и поминутно мѣняется въ лицѣ. Даже докторъ смутился. Женни уже не остановить никакими силами. Она хохочетъ, какъ

мальчишка, ужасно разѣвая ротъ, точно забавляясь мученіями тетушки... Одинъ Сѣрко сочувствуетъ ей, умильно вертитъ хвостомъ и заглядываетъ въ лицо.

Докторъ сталъ прощаться.

Женни присмирѣла на минуту и стала снова «барышней», но только на минуту... Какъ-только сѣрая шляпа скрылась за изгородью сада, Женни неистово захохотала, Сѣрко залаялъ, оба съ шумомъ помчались въ садъ, и пошла потѣха!

Тетушка только зажала уши и поспѣшила въ кухню жаловаться Θеклѣ.

Бѣдная тетушка Агнія!

Брянскій не возобновлялъ своего визита и Женни почти забыла о немъ. Подошли Петровки,—начались сѣнокосы, Женни цѣлые дни проводила въ лугахъ и тетушка могла отдохнуть душою.

Но Брянскій не забылъ дѣвушки. Образъ смуглой черноволосой Женни возставалъ передъ нимъ поминутно.

Какъ-то вечеромъ онъ вышелъ прогуляться по лѣсу и у самой опушки встрѣтился съ Женни, сопровождаемой Сѣрко... Она шла медленно, какъ бы усталая, теребя уши своего мохнатаго друга.

— Евгенія Павловна, здравствуйте!

— Ахъ!...—вздрогнула дѣвушка.

Раздается оглушительный лай Сѣрко.

— Здравствуйте... тубо!... Сѣрко.. глупый, чего надрываешься... вѣдь знакомый.

Они идутъ рядомъ, нѣкоторое время молча. Наконецъ, Брянскій прерываетъ молчаніе:

— Хорошо... вечеръ славный... Вы гуляли?

— Нѣтъ... да...—путается Женни и ужасно краснѣетъ.

Докторъ видитъ ея смущеніе, и въ головѣ его мелькаетъ догадка... Дикое подозрѣніе.

«Свиданье,—думаетъ онъ съ непріятнымъ чувствомъ,—непремѣнно свиданье... Но съ кѣмъ? Сынъ священника, рябой и некрасивый, не можетъ быть героемъ Женни»...

«А почему-бы и нѣтъ?—ловитъ онъ себя на мысли.—Женщины склонны любить безобразіе»...

Но тутъ-же, взглянувъ сбоку на стройную фигурку Женни, онъ отбрасываетъ въ сторону всякое подозрѣніе.

Развѣ такія дѣти могутъ любить? Да потомъ, не все-ли равно ему, если-бы даже и любила когонибудь эта чужая смуглая дѣвочка?! Если онъ иногда и думалъ о ней, такъ потому только, что видѣлъ въ ней рѣдкій экземпляръ цвѣтка, выросшаго въ дикой глуши, и только...

И чтобы сильнѣе убѣдиться въ этомъ, докторъ дѣлается чрезвычайно развязенъ.

— Какъ поживаетъ тетушка?

— Ворчитъ на меня по-обыкновенію: «Мальчишка, совсѣмъ мальчишка!»—говоритъ Женни и, сморщивъ личико, дѣлается замѣчательно похожей на добрую тетушку.

Брянскій неудержимо смѣется.

— Какая вы славная,—говоритъ онъ, и его невообразимо тянетъ къ этой славной дѣвочкѣ.

Тетушка пріятно поражена, увидя ихъ вмѣстѣ... Вновь зарождается въ ней надежда на «приличную партію».

Къ довершенію благополучія, Женни разливаетъ чай. Этого еще никогда не было. Тетушка блаженствуетъ... тетушка ликуетъ... Нужды нѣтъ, что Сѣрко положилъ морду на чистую скатерть и обнюхиваетъ маслянку, что крышка отъ чайника летитъ на полъ изъ неловкихъ рукъ Женни и бьется въ-дребезги, что чай, наконецъ, перекипѣлъ на самоварѣ и отдаетъ вѣникомъ,—Женни мила, предупредительна, скромна, докторъ такъ веселъ и остроуменъ и притомъ такъ ласково взглядываетъ на Женни,—чего-же больше? Тетушка сіяетъ...

Добрая тетушка!...

Проходитъ день, другой, третій...

Ежедневно Женни, Сѣрко и Брянскій встрѣчаются у опушки и вмѣстѣ идутъ пить чай къ тетушкѣ.

Но это не условное свиданье, не нарочная встрѣча... Упаси Боже! Брянскій въ одинъ и тотъ-же часъ идетъ на прогулку, а Женни выходитъ изъ лѣсу.

«Но что она дѣлаетъ тамъ? Почему ея свѣжее личико теряетъ свою обычную веселость? Почему ея брови нахмурены, а смѣющійся обыкновенно ротъ сосредоточенно сжатъ?» Вотъ что мучитъ доктора, заставляя его дѣлать тысячу догадокъ. Теперь онъ твердо увѣренъ, что Женни ходитъ на любовное свиданье, но къ кому? — вопросъ невыясненъ. Правда, тамъ живетъ сторожъ. Брянскій не видѣлъ сторожа и не знаетъ старъ онъ или молодъ... А вкусы женщинъ такъ капризны!... Почему-бы не

полюбить и сторожа? Да, наконецъ, не живетъ-ли тамъ какой-нибудь ярый охотникъ-любитель, стройный и юный, какъ молодой богъ?... И докторъ мучится сомнѣньями все больше и больше и, наконецъ, къ ужасу своему убѣждается, что полюбилъ Женни, полюбилъ быстро, съ-налета, съ первой минуты знакомства, когда она, растрепанная и красная, разглядывала его съ безцеремонностью мальчишки...

Это чувство цѣликомъ поглотило Брянскаго, не давая ему ни минуты покоя, подогрѣваемое постоянной ревностью...

А глаза Женни такъ ласковы и веселы, такъ дѣтски-наивны!...

— Что же это?— мучается бѣднята. — Уѣхать отсюда на время, что-ли!.. Да, конечно, уѣхать!— внезапно приходитъ онъ къ рѣшенію, направляясь по дорогѣ къ усадьбѣ тетушки Агніи.

Едва онъ переступаетъ порогъ калитки, какъ тетушка со съѣхавшимъ на бокъ чепцомъ летитъ къ нему на встрѣчу съ безконечными жалобами. Теперь она уже не стѣсняется «дорогого доктора», видя въ немъ близкаго человѣка, искренно преданнаго ей и Женни.

— Съ ней нѣтъ никакого сладу,—кричитъ тетушка, потрясая лентами,—нѣтъ терпѣнія... Она мальчишка, настоящій мальчишка!

Тетушка забыла о «приличной партіи», о планахъ на доктора... Она должна вылить душу... Женни—ея мучительница, и цѣлый потокъ негодованія выливается наружу.

— Подумайте только... она на голубятнѣ... она

гоняетъ голубей, какъ уличный мальчишка... Это дѣло кучера Евграфа... Боже мой... и какъ она лѣзла... какъ она туда лѣзла, еслибъ вы видѣли, милый докторъ.

И при одномъ воспоминаніи тетушка цѣломудренно краснѣетъ.

— Докторъ, здравствуйте, — откуда-то сверху раздается чистый и звонкій голосъ Женни.

Онъ поднимаетъ голову и видитъ ее трепаную, смѣющуюся, съ распущенной косой, какою видѣлъ ее въ первый день знакомства.

— Милая, милая, — беззвучно шепчетъ Левъ Александровичъ и... смѣется.

— Не прыгай, не прыгай!—кричитъ тетушка, наивно воображая, что Женни прыгнетъ съ трехсаженной вышины.

Всего можно ожидать отъ этого мальчишки... А «мальчишка» черезъ двѣ минуты уже съ ними въ комнатѣ, веселый и возбужденный спортомъ.

— Давайте бѣгать, мнѣ весело,—кричитъ она доктору и шопотомъ добавляетъ, косясь на тетушку:—въ 8 часовъ мнѣ надо въ лѣсъ.

И какъ спокойно говоритъ, точно ей въ 8 часовъ надо съѣсть кусокъ хлѣба съ масломъ.

Брянскій кусаетъ губы... Онъ золъ, какъ никогда...

И какъ нарочно, сегодня она милѣе обыкновеннаго... эта черная головка съ пышною косою.

— Догоняйте меня,—и она стрѣлой бросается вдоль аллеи.

Нѣтъ, во что-бы то ни стало онъ узнаетъ истину! И, настигнувъ ее въ пять прыжковъ, онъ грубо

хватаетъ ее за талію, поворачиваетъ къ себѣ и кричитъ задыхаясь.

— Я знаю, зачѣмъ вы бѣгаете въ лѣсъ, каждый вечеръ!

Она смутилась отъ неожиданности. Ея лицо, уши и шею залило яркимъ румянцемъ... Какой-то незнакомый ему огонекъ мелькнулъ въ ея глазахъ.

— Ну, такъ и знайте,—гордо запрокинула она головку,—въ этомъ нѣтъ ничего дурного... Разъ человѣкъ бѣденъ, онъ не человѣкъ, значитъ, и не можетъ разсчитывать на доброе отношеніе...

И такъ какъ его рука еще держала ея талію, она рѣзко отбросила ее и пошла къ дому поступью маленькой королевы.

Все кончено для Брянскаго...

Бѣдный, бѣдный докторъ! Женни любитъ другого... бѣдняка... любитъ горячо... сильно... Недаромъ глаза ея горѣли, какъ звѣздочки... О, эти южныя дѣти... Они развиваются не по годамъ рано... И Женни такая. Дитя-ли?—и Брянскій саркастически смѣется. Онъ знаетъ это дитя... Онъ ненавидитъ ее теперь. А тамъ лѣсъ... свиданье... какой-нибудь влюбленный семинаристъ или лохматый учитель изъ народной школы... чортъ знаетъ, что такое!

Всю ночь не спалъ Левъ Александровичъ, то бѣгая по комнатѣ, то начиная письмо къ Женни, полное страстныхъ упрековъ.

Онъ рѣшилъ завтра-же начать хлопотать о переводѣ въ другой уѣздъ... Онъ не станетъ мѣшать Женни и ея «милому». Пусть любятъ... пусть наслаждаются... Его жизнь разбита въ 24 года...

черезъ недѣлю онъ будетъ далеко отсюда и не увидитъ Женни... лукавую недобрую дѣвочку...

Подъ утро онъ забылся тяжелымъ сномъ...

Въ одиннадцать ровно онъ уже былъ на знакомомъ балконѣ сѣраго домика.

— Въ послѣдній разъ, въ послѣдній разъ...— выстукиваетъ неугомонное сердце.

— Чортъ знаетъ, что за сентиментальность! — злится докторъ.

Выбѣгаетъ Женни, цвѣтущая, веселая. Онъ не ожидалъ видѣть ее такою послѣ вчерашняго.

— Онъ выздоровѣлъ, онъ выздоровѣлъ, — сверкаетъ она бѣлыми зубами.

— Кто выздоровѣлъ?..—начинаетъ-было докторъ, и вдругъ все дѣлается яснымъ. Ну, чтожъ... очень радъ, — роняетъ онъ сквозь зубы, — радъ за васъ. Евгенія Павловна... не забудьте же пригласить меня на свадьбу,—заключаетъ не безъ злорадства Брянскій.

— На свадьбу? На какую свадьбу?—и смуглое личико полно недоумѣнія.

— Да на вашу... Боже мой... съ этимъ... этимъ... лѣснымъ принцемъ... вы вѣдь его такъ безумно любите.

— Кого? сторожа Терентьича-то? — и здоровый, неудержимый хохотъ оглашаетъ воздухъ.—Тетушка... Θекла... — кричитъ она между взрывами смѣха, — скорѣй сюда, докторъ помѣшался!

Брянскій имѣлъ, дѣйствительно, видъ помѣшаннаго. Его глаза растерянно уставились на хохочущую Женни. Ей стало жалко. Смѣхъ ея утихъ.

— Милый, милый докторъ, и вы смѣли подозрѣвать меня?—говоритъ она.—Терентьичъ, лѣсной сторожъ, былъ боленъ ревматизмомъ и я его лечила,

какъ могла, и, какъ видите, успѣшно... Онъ такъ бѣденъ, что ѣстъ мясо только по праздникамъ. Вотъ почему я носила ему ужины безъ вѣдома тетушки... И этотъ Терентьичъ — мой мужъ?. Нѣтъ, вы рѣшительно помѣшались, милый докторъ.

— Отъ любви къ вамъ, милая Женни!

— Что?—и она застѣнчиво краснѣетъ.

Цѣлый потокъ нѣжныхъ признаній обрушивается на нее.

Женни не двигается... Женни слушаетъ чуть дыша... онъ давно ей нравится, этотъ красивый, добрый докторъ... И говоритъ онъ такъ убѣдительно и пылко... А солнце яркимъ свѣтомъ заливаетъ веранду... Какая-то глупая бабочка бьется о стекло...

— И вы скрывали отъ меня, не подозрѣвая, какъ меня мучило все это,—тихо звучитъ голосъ Брянскаго какими-то новыми бархатными нотами. — Женни, злая, какъ вы могли такъ дѣлать!

— Пусть лѣвая рука твоя не вѣдаетъ, что творитъ правая,—лукаво шепчетъ Женни и смѣется.

— Ненаглядная, милая, дайте мнѣ эту ручку, дайте въ постоянное владѣніе!..

Она шепчетъ еще тише, чуть слышно:

— Я ваша, милый докторъ!

Онъ быстро склоняется къ ней, но въ ту же минуту на порогѣ появляется тетушка. Ей не нужно объясненій, она поняла все и красная, какъ піонъ, вынимаетъ изъ орѣховаго шкапчика домашнюю наливку, чтобы поздравить жениха и невѣсту, радуясь въ душѣ приличной партіи для мальчишки Женни.

Не судьба.

Апрѣль улыбался безоблачнымъ небомъ, свѣтлымъ голубоватымъ эфиромъ, золотымъ солнцемъ, царственно завладѣвшимъ синимъ куполомъ и пробужденной молодой природой.

Апрѣль улыбался...

Съ нимъ улыбалась жизнь...

Дыханіе весны, тонкое, благоуханное, страстное, давало себя чувствовать всему живущему и откликнувшемуся на радостно-юный ея призывъ...

Смуглая, худенькая Лулу, съ некрасивымъ личикомъ и угловатыми движеніями шестнадцатилѣтняго подростка, тихо ступала, по влажному еще отъ перваго апрѣльскаго дождя песку аллеи.

Одной рукой она поддерживала юбку, поддерживала безъ всякой надобности, потому что юбка едва доходила до щиколотки, а другой смахивала зонтикомъ капли дождя съ подорожныхъ молодыхъ липокъ, готовыхъ раскрыть свои позеленѣвшія почки.

Кузенъ Пика, толстый коротенькій кавалерійскій юнкеръ, выступалъ подлѣ Лулу особенной походкой съ «развальцемъ», свойственной однимъ кавалеристамъ.

Черезъ открытыя окна нижняго этажа лилась

свободная и сильная трель заѣзжаго тенора Борскаго, яраго поклонника матери Лулу.

Лулу слышала пѣніе Борскаго, смотрѣла въ голубое небо большими вопрошающими глазами, скашивая ихъ по временамъ на коротенькую фигуру Пики, и была счастлива.

Пика ей нравился давно, когда еще двѣнадцатилѣтнимъ кадетикомъ пріѣзжалъ къ нимъ на каникулы, въ это самое «Зеленое», гдѣ они съ матерью проводятъ весну до заграничной поѣздки. Уже тогда она измѣнила своему любимому герою, Александру Македонскому и влюбилась въ Пику... Тогда онъ былъ еще худенькій, бѣленькій и красивый мальчикъ—и его сердце было полно ею, Лулу... Теперь онъ превратился въ упитаннаго, самодовольнаго кавалериста, проводящаго все свободное отъ занятій время у какой-то Лизъ, не то француженки, не то еврейки, и дѣлаетъ долги, чтобы дарить ей бриллианты. Лулу ненавидитъ эту Лизъ, погубившую, по ея мнѣнію, Пику, но разлюбить Пику она не можетъ... Послѣ Александра Македонскаго она признаетъ его, только его... И Пика чувствуетъ это... и доволенъ... безконечно доволенъ... Лулу, правда, некрасива, но у нея милліоны, которые стоятъ красоты. И потомъ, красивая жена—бремя. Онъ видитъ это по товарищамъ... Къ тому же подлой Лизки онъ не броситъ (Пика далеко не считалъ себя рыцаремъ въ душѣ и иногда позволялъ себѣ вульгарно выражаться)...

Лизъ дала ему апломбъ въ кавалерійской школѣ... Онъ отбилъ ее у ротмистра Д. и это подняло его престижъ въ глазахъ товарищей... Въ послѣднее

время она стала не въ мѣру требовательна, и долги Пики сразу утроились.

Ирина Владиміровна Горина, мать Лулу, его двоюродная тетка, не разъ намекала ему, что не прочь выдать Лулу за троюроднаго братца. Ей была въ тягость взрослая некрасивая дочь, вывозить которую ей приходилось бы въ будущемъ сезонѣ.

Его пригласили провести апрѣль въ деревнѣ... Его и тенора... Тенора пригласила Ирина Владиміровна для себя, его—для Лулу... Здѣсь цѣлые дни онъ слушалъ пѣніе Борскаго, вдыхалъ весенній деревенскій воздухъ, ухаживалъ явно за Лулу, тайно за ея компаніонкой, пикантной рыжеватой француженкой m-lle Магіе, и выжидалъ только момента сдѣлать предложеніе. И моментъ наступилъ... Пѣніе Борскаго и весеннее утро помогли Пикѣ...

— Лулу! — тихо позвалъ онъ кузину, вставшую на колѣни на чуть зазелевѣвшій газонъ, чтобы сорвать подснѣжникъ.

— Hein?—отозвалась она.

Это «hein» странно напомнило ему далекую Лизъ съ ея черной шапкой волосъ, съ скрипящимъ корсетомъ и грубовато-кошачьими ласками.

«Вѣрно утѣшается съ кѣмъ-нибудь, подлая»,— мысленно выругался Пика, и сталъ рѣшительнѣе.

— Вамъ нравится голосъ Борскаго, Лулу?

— Зачѣмъ вамъ это знать, Пика? Достаточно, что онъ нравится maman.

Лулу прищурилась и взглянула на Пику.

«Она не такъ глупа, — невольно скользнуло въ его мозгу.—Но обезьяна, Боже мой, какая обезьяна!»—и снова Лизъ, хорошенькая и лукавая съ

искусно подмалеванными глазками, мельнула передъ нимъ...

«Чтобы сохранить Лизъ—нужны милліоны, чтобы имѣть милліоны—надо пріобрѣсти Лулу... C'est vieux comme le monde...»—соображалъ Пика, и глаза его стали меньше и нѣжнѣе.

— А вамъ нравится кто-нибудь, Лулу?

— Это нескромно, Пика!

— Но я не скажу тетѣ, parole d'honneur.

— Тѣмъ хуже, и потомъ, я не боюсь никого и ничего.

«Да она преумненькая! Va! это осложняетъ задачу»,—подумалъ Пика.

— Лулу!—и Пика коснулся ея худенькой и длинной, какъ у всѣхъ подростковъ, кисти,—никто вамъ не нравится, Лулу?

Она вдругъ густо покраснѣла подъ широкими полями шляпы... Потомъ указывая рукой, шепнула:

— Нашъ мостикъ... Помните нашъ мостикъ, Пика?

Онъ рѣшительно ничего не помнилъ, но сказалъ, что помнитъ, и крѣпче сжалъ ея руку.

Она еще больше покраснѣла, но руки не отняла. Пика началъ теряться... Къ обществу разныхъ Лизъ, Анжеликъ, Мари и пр., и пр. онъ привыкъ съ давнихъ поръ и умѣлъ оріентироваться въ ихъ кругу. Съ свѣтской дѣвушкой, хотя бы и кузиной, онъ оказывается совершеннымъ профаномъ и потому былъ безконечно благодаренъ Лулу, которая выручала его...

— Ахъ, я такъ хорошо помню этотъ мостикъ,—восторженно говорила она.—Мнѣ было тогда восемь

лѣтъ, Пика, вамъ двѣнадцать. Шелъ дождь, мы убѣжали отъ миссъ. Мостикъ былъ маленькій, въ одну дощечку, теперь его расширили. Намъ надо было на ту сторону... Мои ноги скользили... Тогда вы схватили меня на руки и перенесли... Намъ было такъ хорошо тогда, Пика! Мы были дѣти...

Въ ея голосѣ прозвучало что то новое, болѣзненно-чуткое, заставившее Пику быстро взглянуть на нее...

— А теперь развѣ худо? Развѣ теперь я не могу перенести васъ, Лулу?

— Нѣтъ, не то. Вы не поняли меня. Тогда вы были свободны, а теперь...

— Теперь?—какъ эхо прозвучалъ его вопросъ.

— Теперь... у васъ есть... ну, дама... очень красивая, для которой вы покупаете брилліанты и дѣлаете долги... Мама запретила мнѣ говорить объ этой дамѣ, Пика, но я не могу...

— Кто вамъ сказалъ все это, Лулу?

— Вы не разсердитесь?

— Нѣтъ.

— Marie! Она все знаетъ. И про маму, и про васъ, и про всѣхъ, Пика!..

«Ахъ, скверная дѣвчонка,—мысленно выругался онъ,—надо быть осторожнѣе съ нею...»

И добавилъ вслухъ:

— Видите-ли, Лулу! Vous êtes jeune fille, мнѣ неудобно вдаваться въ подробности, mais... enfin какъ могли вы думать? Эта связь—шутка... une bagatelle, о которой и говорить не стоитъ... Эта... какъ вы называете, дама давно потеряла мою привязанность... и...

— Вы свободны, какъ и раньше, Пика?

— Нѣтъ, теперь я не свободенъ, такъ какъ я люблю васъ, Лулу...

— Ахъ!—вырвалось изъ ея груди свободнымъ и радостнымъ звукомъ.—Ахъ, Пика, благодарю васъ!

Онъ удивленно оглянулся. За что благодарила она его—эта смуглая некрасивая дѣвочка? Неужто въ самомъ дѣлѣ она его любитъ?

Гм! Гм! и весело и смѣшно! Пику никто еще не любилъ никогда въ жизни... Никто не благодарилъ его за любовь. Онъ дарилъ и кольца, и серьги, его трепали за это по щекамъ, ему отдавались, его ласкали, но ни одного коротенькаго «mersi», освѣщеннаго чувствомъ.

Онъ взглянулъ на Лулу, взглянулъ на концы своихъ лакированныхъ сапогъ и произнесъ, мгновенно обливаясь потомъ:

— Хотите быть моею женою, Лулу?

— Да, да!—тихо, совсѣмъ тихо произнесла Лулу и стала посреди дорожки, точно выжидая.

«Надо ее поцѣловать!»—пронеслось вихремъ въ его головѣ и осторожнымъ жестомъ, совсѣмъ ему не свойственнымъ, онъ притянулъ къ себѣ дѣвушку и приложился губами къ ея худенькой смуглой щекѣ.

Она довѣрчиво отвѣтила ему поцѣлуемъ. Весна такъ щедро разсыпала свои ласки, теноръ Борскаго такъ заманчиво звенѣлъ, полный истомы, жизнь казалась такой свѣтлой и прекрасной...

И она ощутила въ груди горячій приливъ чувства къ этому толстенькому Пикѣ, давшему ей столько счастья...

Ей такъ хотѣлось счастья... Имѣть свой домъ,

уйти въ заботы о мужѣ и дѣтяхъ... Дѣти! Она не понимаетъ счастья безъ нихъ... Она ихъ будетъ любить, нѣжить... а они—называть ее мамой... и также любить ее... Она не будетъ выѣзжать, она забудетъ весь міръ въ своей семьѣ, въ своемъ домѣ и будетъ счастлива, какъ никто... Она не знала материнской ласки... Ея мать слишкомъ прекрасна и недоступна и слишкомъ отдалась свѣту... О, она будетъ иначе относиться къ дѣтямъ, которыми подаритъ Пику!

Она проститъ ему его прошлое... «Мужчина безъ прошлаго—не мужчина»,—говоритъ мама... Но его будущее и настоящее принадлежитъ ей, одной ей...

И подъ трескъ кузнечиковъ и пѣніе Борскаго, вся согрѣтая весеннимъ солнцемъ и неожиданной лаской судьбы, Лулу шепчетъ тихо, тихо, чуть слышно:

— О, какъ я счастлива и какъ я люблю васъ, Пика! . . . . . .

. . . . . .

Теплая апрѣльская ночь замираетъ съ нѣжной истомой... Сѣрыя сумерки давно окутали домъ, садъ и окрестности...

Но Лулу не спится... Ей душно... Она накинула на плечи пеньюаръ и подошла къ открытому окошку...

Вечеромъ, уходя спать, она шепнула матери о предложеніи Пики и та поздравила Лулу...

И съ Пикой они еще разъ поцѣловались въ аллеѣ...

Она—невѣста... Она его любитъ больше, чѣмъ любила въ дѣтствѣ, гораздо больше... Она теперь не совсѣмъ одинока. Ей не надо ни матери, ни Marie,

вертлявой и бойкой щебетуньи... у нея будетъ женихъ, потомъ мужъ и дѣти...

При воспоминаніи о дѣтяхъ, сердечко ея екнуло и забилось...

Лулу прижалась головой къ оконному стеклу и мысленно стала перебирать въ мысляхъ все происшедшее съ ней сегодня... Она улыбалась... Какимъ сладкимъ чадомъ была полна ея молодая головка и горячее сердце! Она желала бы, чтобы этотъ сладкій чадъ длился долго, долго и никогда бы не разсѣивался...

Кто-то быстро-быстро пробѣжалъ подъ окнами, точно преслѣдуемый кѣмъ-то.

Лулу нагнулась и изъ второго этажа, гдѣ помѣщалась ея комната, въ сѣрыхъ сумеркахъ апрѣльской ночи увидѣла бѣгущую Marie съ двумя разсыпавшимися рыжими косами.

— Tsss! tsss!—звенѣлъ откуда-то звонкій шопотъ Пикинаго голоса, и она увидѣла его, настигавшаго Marie, въ бѣломъ кителѣ и фуражкѣ.

— Tsss! sans tapage, malheureuse!—шепталъ онъ и, поймавъ Marie за руку, сталъ цѣловать ее быстро-быстро въ лицо, грудь и шею.

Она отбивалась и ежилась.

И оба захохотали, какъ безумные.

— Que va dire ton gros sac d'argent, ta Loulou adorée?—съ безстыдной наглостью шепнула француженка.

— Que m'importe,—безпечно, почти въ голосъ крикнулъ Пика и вдругъ, поднявъ случайно голову, въ амбразурѣ окна увидѣлъ блѣдное лицо Лулу, искаженное мукой.

— Tiens!—совсѣмъ глупо протянулъ онъ и улыбнулся растерянной улыбкой.

Marie быстро исчезла, подбирая на ходу подъ большой гребень свои рыжія косы.

А Лулу все стояла, молча неподвижно, какъ статуя отчаянья и горя...

Медленно, какъ струны со звономъ и болью, лопались и исчезали всѣ ея сладкія грезы, всѣ ея свѣтлыя надежды... Впереди ея было темно и пусто, какъ было темно и пусто во всю ея коротенькую, никому ненужную маленькую жизнь...

Востокъ давно заалѣлъ румянцемъ восхода, когда Лулу очнулась и отошла отъ окна... Легкая дрожь пробѣгала по всему ея худенькому тѣлу: отъ свѣжести-ли весенняго утра или отъ душевнаго холода и пустоты, она не знала...

Она знала только одно, что домъ, семья и дѣти не для нея—бѣднаго смуглаго урода... Она—денежный мѣшокъ, le gros sac d'argent, какъ назвала ее справедливо Marie...

И она найдетъ въ себѣ достаточно гордости, чтобы не покупать себѣ мужа за деньги, за свои милліоны...

Она останется одинокой...

И рѣшивъ это, бѣдняжка Лулу бросилась въ постель и, зарывшись головой въ подушку, плакала... плакала... плакала...

Во имя любви.

I.

Темно-перловая пыль безпорядочно-широкой волной стлалась по дорогѣ. Синее небо лазоревой улыбкой улыбалось истомленной зноемъ землѣ, прекрасное въ своемъ величавомъ безстрастіи...

По пыльной дорогѣ, закрываясь зонтикомъ отъ назойливой ласки іюльскихъ лучей, шла дѣвушка, легкая и граціозная, съ двумя тяжелыми черными косами за спиною.

Дѣвушка шла стремительно, не взирая на жару, располагающую къ отдыху и лѣни, и въ ея быстрой походкѣ, въ дрожащей маленькой ручкѣ, держащей зонтикъ, и въ большихъ вдумчиво-милыхъ глазахъ сквозило волненіе.

Гдѣ-то близко, совсѣмъ близко зазвенѣлъ колокольчикъ.

Дѣвушка вздрогнула, остановилась, и алая краска ярко залила ея загорѣлыя щеки... Колокольчикъ распѣвалъ свою звонкую пѣсню, переливаясь и замирая, а дѣвушка все ждала, не двигаясь и улыбаясь не то звукамъ, не то своимъ мыслямъ, вихремъ ворвавшимся въ голову.

Изъ-за горы вынырнулъ тарантасъ, запряженный парой сытыхъ, деревенскихъ лошадокъ. Дѣвушка впилась въ него глазами, оставаясь въ томъ-же положеніи, съ прижатой къ груди загорѣлой рукой.

Вся жизнь этого стройнаго, молодого существа сосредоточилась въ большихъ черныхъ глазахъ, выражавшихъ теперь одно жгучее, острое ожиданіе...

Тарантасъ приближался... Она могла различить и тупое лицо возницы, и запыленную фигуру сидящаго въ тарантасѣ мужчины.

Еще минута, и онъ проскачетъ мимо, оставивъ ее далеко позади, оцѣпенѣвшую въ своемъ ожиданіи. Эта мысль сковала внезапнымъ страхомъ все существо дѣвушки, и, собравъ силы, она крикнула надорваннымъ отъ волненія голосомъ:

— Сережа!

Вмигъ оборвался звонъ колокольчика, возница круто осадилъ лошадей и тарантасъ остановился въ десяти шагахъ отъ нея.

Сидѣвшій въ немъ молодой человѣкъ прищурился на дѣвушку сквозь стекла золотого пенснэ и вдругъ широкая, радостная улыбка расползлась по его покрытому густымъ слоемъ подорожной пыли лицу.

Легко и быстро выпрыгнулъ онъ изъ тарантаса и обнялъ дѣвушку.

— Наташа! милая Наташа!

— Сережа!

Они поцѣловались крѣпко, какъ братъ съ сестрой.

— А еще не узналъ, проѣхалъ мимо, безсовѣстный,—говорила она тѣмъ радостно-взволнованнымъ и размягченнымъ голосомъ, который помимо воли дрожитъ слезами и волненіемъ.

— Не узналъ, ей-Богу не узналъ, Наташа! И какая же ты стала красавица,—оправдывался онъ, отстраняя ее немного и любуясь ею, какъ картиной.

— Ну, вотъ, — недовольно вытянула она полныя губки, что удивительно шло къ ея красивому, загорѣлому, на-диво здоровому личику,—ну вотъ, такихъ ли ты видѣлъ тамъ у себя красавицъ!

Она сказала это совсѣмъ просто, безъ задней мысли, но онъ, какъ неправый передъ нею, усмотрѣлъ въ ея словахъ намекъ, недовольство и спросилъ тихимъ, виноватымъ голосомъ:

— Ты простила, Наташа?

Вмигъ съ ея искрившагося счастьемъ личика сбѣжало оживленіе и она заговорила скоро, скоро, какъ бы боясь, чтобы онъ не прервалъ и не остановилъ ея, въ то время какъ щеки ея поблѣднѣли подъ загаромъ, а глаза стали какъ-то холоднѣе и глубже:

— Вотъ, вотъ, Сережа, я для этого нарочно и встрѣтила тебя за деревней, чтобы сказать тебѣ, что я ни на минуту не считала тебя виноватымъ. Мы были очень молоды, мы увлекались, но, помнишь, я и тогда говорила тебѣ, что это не то, не то... Ахъ, Сережа, какъ мы были тогда глупы... И какъ ты, вѣроятно, смѣялся надо мною съ «ней»...

— Никогда!

— Правда? Ну, вѣрю, вѣрю... Ты не безпокойся, что огорчилъ меня. Нѣтъ... нѣтъ... Какъ ты только уѣхалъ, я поняла тогда же сразу, что не слѣдовало этого... Увѣряю тебя... и я раскаивалась въ моемъ словѣ... Право же, мы гораздо лучше такъ — братомъ и сестрою. Это намъ больше идетъ.

И она засмѣялась, хотя въ глазахъ ея стояли слезы.

— А теперь это «то»? — улыбнулся онъ. — И ты будешь счастлива съ Михаиломъ?

— Счастлива? — Не знаю. Бракъ — лоттерея, но во всякомъ случаѣ, мы съ нимъ одного поля ягода, мы — деревенщина, чернорабочіе, а ты баринъ, а главное — ты талантъ, Сережа, ты выше насъ и я этого никогда не забывала...

Она говорила совсѣмъ спокойно, ласково прижимаясь къ его плечу, но онъ услышалъ въ ея словахъ нотку горечи и разочарованія. И ему стало больно.

«Хоть бы она-то была счастлива!» — мысленно вырвалось у него, и онъ отъ души благословлялъ эту молодую жизнь, чуть было не отдавшуюся его власти, попеченіямъ и заботамъ.

Они шли близко-близко одинъ отъ другого по узкой тропинкѣ вдоль дороги, отославъ впередъ возницу съ вещами, сгорая и отъ знойныхъ іюльскихъ лучей, и отъ тѣхъ новыхъ и разнородныхъ ощущеній, которыя волновали обоихъ.

Наташа невольно притихла, исполнивъ, какъ ей казалось, свой долгъ передъ Сергѣемъ, и только изрѣдка осматривала его чисто-женскими любопытными глазами. Не смотря на дорожную усталость, на золотое пенснэ, которое скрывало его добрые синіе глаза (и котораго онъ не носилъ раньше), на двѣ горькія полосы, протянутыя къ угламъ рта отъ обѣихъ сторонъ носа, свидѣтельствующія о переутомленіи, а, можетъ быть, и о пресыщеніи, онъ былъ все тотъ же милый, дорогой Сережа, какимъ она

привыкла любить его за всю ея молодую, не богатую событіями жизнь.

Это былъ тотъ самый Сережа, съ которымъ она дралась и играла въ дѣтствѣ, съ которымъ она спорила до слезъ изъ-за любимыхъ писателей въ отрочествѣ, и о которомъ, наконецъ, мечтала въ кленовой аллеѣ, когда онъ вернулся три года тому назадъ, блистательно кончивъ юридическій факультетъ... Тогда она обѣщала быть его женой. Что же мудренаго? Они были молоды, красивы, ихъ кровь кипѣла и билась...

Но онъ, уѣхавъ въ городъ, увлекся какой-то очень интересной женщиной, своей кліенткой, и возвратилъ ей, Наташѣ, ея слово... Она отнеслась къ этому здраво и трезво...

Она не обвиняла Сережу, не смѣла его обвинять, потому что считала его недосягаемой величиною, кумиромъ, передъ которымъ все должно было трепетать и преклоняться. Его талантъ кружилъ ей голову и заставлялъ ее гордиться имъ, какъ изъ ряда вонъ выходящимъ человѣкомъ.

Вотъ и теперь, идя съ нимъ рядомъ и глядя на него влюбленными глазами, она почти съ ужасомъ думала о томъ, что могла быть подругой этого полубога, такъ щедро одареннаго природой.

А самъ полубогъ, такъ беззавѣтно любимый Сережа, смотрѣлъ на пыльную дорогу, на родныя поля съ золотившейся рожью, на изумрудный коверъ овса, и сердце его сжималось сладкими и грустными воспоминаніями, ставшими такими дорогими вслѣдствіе отдаленности...

II.

Ихъ ждали...

По желтой дорожкѣ крохотнаго палисадника бѣжала старушка, очень старая и очень бодрая, несмотря на свою старость.

Марья Васильевна Крутинина издали узнала сына, торопившагося ей на встрѣчу, и сердце ея билось и сладко ныло въ груди. Подпустивъ его къ себѣ, она закинула ему руки за голову, сцѣпила дрожащіе пальцы и заплакала навзрыдъ.

— Мама, милая, успокойтесь, мама, — просилъ сынъ, цѣлуя ея сѣдые волосы и старческія щеки.

— Голубчикъ ты мой! Гордость ты моя! Вернулся, вернулся, ненаглядный ты мой!—и она снова цѣловала и снова плакала, сжимая въ своихъ объятіяхъ его красивую кудреватую голову.

По ступенькамъ балкона спускался тяжеловато и медленно высокій, плотный рябой мужчина, странно похожій на Сергѣя. Это былъ его старшій братъ Михаилъ.

— Ну, ну, будетъ, мама, замучили! Давайте его мнѣ,—засмѣялся онъ немного грубоватымъ, но пріятнымъ голосомъ. — Здравствуй, братъ! У-ухъ ты, возмужалъ какъ!

Братья обнялись и поцѣловались. Подошла Наташа съ сіяющей лаской въ глазахъ и всѣ разомъ заговорили, засмѣялись, какъ это часто бываетъ у людей взволнованныхъ и какъ бы подавленныхъ сильной радостью.

Сергѣя Крутинина ждали на балконѣ, обтянутомъ

суровымъ полотномъ съ широкой красной каймой, угощали чаемъ, простоквашей, пирогомъ съ курицей и какими-то лепешками, таявшими во рту.

Онъ отказывался отъ ѣды, но пилъ чай, чтобы доставить удовольствіе матери, которая не спускала съ него любящаго и умиленнаго взора.

— Ахъ, да,—вспомнилъ онъ,—поздравляю, братъ,— и онъ крѣпко черезъ столъ пожалъ руку Михаила.— Такой женой ты можешь гордиться.

— Да, знаю. Наташа молодецъ!—улыбнулся Крутининъ-старшій.—Съ ней не пропадешь... Знаешь ли кто мнѣ мужиковъ образумилъ? Она.

— А что?

— Да все то же было. На воскресныя чтенія ребятъ не пускали. Имъ, видишь ли, некого было въ кабакъ гонять за сивухой. Ну, она разсердилась. «Терпѣнье мое, говоритъ, лопнуло смотрѣть на это безобразіе». Побѣжала къ старостѣ, созвала десятскихъ да и отчитала. «Вы, говоритъ, Бога не боитесь, на что вы вашихъ ребятъ толкаете? Ужъ не говоря о томъ, что имъ нести воинскую повинность затрудняете, вы ихъ своимъ примѣромъ на что ведете? Мало пьяницъ несчастныхъ у васъ, что-ли?» И пошла, и пошла. Да такъ отчитала, что они только въ головѣ чесали, а результатъ тотъ, что вся школа въ праздникъ на-лицо собралась.

— Молодецъ Наташа!—засмѣялся Сергѣй.

— Да ужъ правда молодецъ, — вмѣшалась старуха Крутинина,—самъ староста за версту передъ ней шапку ломаетъ. «Другой такой, говоритъ, барышни днемъ съ огнемъ не сыщешь».

Наташа слушала эти похвалы, вся разгораясь

яркимъ румянцемъ отъ удовольствія и смущенія, что онѣ говорятся въ присутствіи Сергѣя и что самъ онъ одобрительно улыбается и киваетъ ей ласково головою.

— Ну, а твои дѣла съ начальствомъ?—участливо спросилъ Крутининъ-младшій.

— Да что, все то же! Вмѣшиваются, тормазятъ. Ну, да чья еще возьметъ, посмотримъ!—и Михаилъ упрямо тряхнулъ своей характерной головою.—Вѣдь не съ пѣшками, а съ живыми людьми имѣешь дѣла, а они этого понять не могутъ. Имъ только два Завѣта, буки—вѣди, да 4 правила ариѳметики подавай, а того не поймутъ, что мальчишка живой пищи проситъ. Я ужъ схватывался!—съ воодушевленіемъ разсказывалъ онъ и рябое, некрасивое лицо его воодушевилось, загорѣлось и сдѣлалось странно привлекательнымъ. — Какъ же, какъ же, схватывался!—подхватилъ онъ, блестя глазами и улыбаясь большимъ и добрымъ ртомъ. —Пріѣхалъ «самъ» во время словесности. А у меня Некрасовъ на столѣ. «Зачѣмъ?» спрашиваетъ.—«Доступнѣе, говорю, всего остального, на душу дѣйствуетъ, патріотизмъ поднимаетъ».—«Не къ чему, говоритъ. Патріотизмъ и въ «Капитанской дочкѣ» на воскресныхъ чтеніяхъ поймутъ». Обидно мнѣ стало за ребятъ, знаешь. Глазенки разгорѣлись, пристаютъ: «Больно хорошо. Михайло Митричъ... почитайте!» А какъ тутъ почитаешь... Ну, рискую, понятно... Игра свѣчъ стоитъ. Есть смышленые... Особенно волостного Колька. Экземпляръ... Будущій Ломоносовъ.

И попавъ на свою любимую тему, Михаилъ Дмитріевичъ говорилъ долго и пространно.

А Крутининъ-младшій слушалъ брата и думалъ, какъ мало измѣнился онъ за три года и какъ глушь способна губить человѣка.

Онъ былъ все тотъ же, этотъ бѣдный труженикъ Михаилъ, посѣдѣвшій въ своей школѣ, упорный прямой идеалистъ, ищущій въ своей жалкой паствѣ Ломоносовыхъ и Гракховъ, способный выдумать и раздуть преграды, чтобы оцвѣтить и увеличить поле дѣятельности.

И онъ, и Наташа—этотъ деревенскій Цицеронъ въ юбкѣ, громящая пьяныхъ крестьянъ,—какъ это все ничтожно, мелко и жалко въ сравненіи съ тѣмъ, зачѣмъ онъ пріѣхалъ и что его ожидаетъ.

И, вспомнивъ объ этомъ, онъ невольно вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ...

III.

Іюльская ночь, благовонная и свѣжая, какъ ласка влюбленной дѣвушки, подкралась, скользя и волнуя, и окутала землю душистой и темной фатой...

Сергѣй распахнулъ окно Наташиной комнаты, которую та, какъ гостю, уступила ему, и тотчасъ же къ нему потянулись упругіе и гибкіе прутья сирени.

Она отцвѣла давно, ранней весною, но ему чудился пряный и нѣжный ароматъ ея ..

Нѣтъ, это не сирень...

Это «она», ея ароматъ, отдающій востокомъ и сказкой, какъ самое имя этой женщины, прелестное своей непроницаемостью и новизной. Алла... Алла... Алла...

Онъ повторялъ его на тысячи ладовъ, и оно— это имя—не утеряло для него своей красоты и прелести и царитъ въ его сердцѣ, какъ царитъ въ немъ его обладательница, эта заманчивая, какъ тайна, женщина, то мерцающая, то темная, то совсѣмъ свѣтлая, какъ самый свѣтлый взоръ, разгаданный любовью.

Но разгадать ея онъ не могъ... Она была и осталась для него загадкой.

Онъ видѣлъ въ ней красоту, которой поклонялся, но эта красота не лелѣяла, не покоила его нервовъ. Она жгла и томила, оцѣпеняла и сковывала какими-то тяжелыми и холодными цѣпями, которыхъ онъ не въ силахъ былъ сбросить и которыя несли ему смерть.

Они сошлись такъ же странно, какъ странно жила и умирала ихъ любовь.

«Ея любовь»,—поправилъ онъ себя мысленно, потому что онъ любилъ и теперь, еще сильнѣе и острѣе, чѣмъ три года тому назадъ въ моментъ ихъ первой встрѣчи.

А встрѣча была изъ ряда вонъ выходящая.

Ему не забыть того рокового вечера, когда въ его передней дрогнулъ звонокъ, заставившій его сердце вздрогнуть отъ какого-то предчувствія.

Пріѣхалъ его знакомый, извѣстный адвокатъ, защитникъ одной очень популярной преступницы, убившей въ одномъ изъ вертеповъ молодого представителя какой-то фирмы.

— Меня вызываетъ болѣзнь жены за границу,— взволнованно говорилъ онъ,—и вы, мой юный другъ, не откажете принять отъ меня дѣло. Вашему та-

ланту я довѣряю больше, нежели всѣмъ моимъ зазнавшимся на лаврахъ коллегамъ.

Какъ онъ былъ гордъ и смущенъ въ одно и то же время! Онъ обѣщалъ оправдать довѣріе своего знаменитаго друга, и сдержалъ слово...

На судѣ онъ разсмотрѣлъ ее впервые...

Она даже не показалась ему красивой въ первую минуту. Не очень молодое, изнуренное, измученное и испуганное лицо. Но когда она подняла длинныя рѣсницы и на него взглянули ея глаза съ мерцающей въ нихъ тайной, онъ понялъ, какъ хороша она.

Ея взглядъ окрылилъ его, придалъ силы его голосу, твердости взорамъ и красоты, новой божественной красоты его плавно-текущей рѣчи...

Гулъ сочувствія стоялъ въ залѣ и судъ былъ внимателенъ, какъ никогда. Ея жизнь—сложная, полная превратностей и событій жизнь «этихъ женщинъ»—взволновала толпу. Онъ коснулся въ яркихъ, острыхъ, бьющихъ по нервамъ выраженіяхъ вопроса о томъ, какъ тяжело выносить грубость и побои пьянаго и случайнаго любовника ей—интеллигентной женщинѣ, балованной судьбою, опоэтизированной поклоненіемъ толпы, восхвалявшей ея красоту и оригинальность...

Ее оправдали...

. . . . . .

. . . . . .

Какъ она его любила! Боже! какъ она его любила... Она цѣловала его руки и называла богомъ, и падала на колѣни, и кланялась до земли, и отдавала ему всю свою душу, всю безъ остатка.

Лицо Сергѣя холодѣло, несмотря на теплую ласку іюльской ночи, когда онъ вспомнилъ ея слова, жегшія его больше поцѣлуевъ, и взоры, сковывавшіе тѣснѣе самыхъ тѣсныхъ объятій.

Поцѣлуями и слезами смылъ онъ кровавыя пятна съ ея рукъ, такихъ бѣлыхъ и великолѣпныхъ, созданныхъ для ласкъ, но не для преступленія...

Она вся, начиная съ ея пепельныхъ косъ, стянутыхъ тяжелымъ узломъ на затылкѣ, до ея великолѣпныхъ глазъ, страшныхъ своей таинственностью, была прелестна тою неуловимою прелестью загадки, которая притягиваетъ къ себѣ, опьяняя и опутывая на-смерть.

Кто она—онъ не знаетъ и сейчасъ, когда уже все кончено, когда онъ никогда ея не увидитъ, никогда не коснется губами ея глазъ съ царящей въ нихъ мерцающей тайной.

На судѣ, въ толстыхъ тетрадяхъ подъ синими обложками «дѣла», она значилась дочерью бѣднаго мѣщанина-сапожника, проведшая всю свою жизнь въ сыромъ подвалѣ до тѣхъ поръ, пока не попала въ руки жадной и безсердечной женщины, торговавшей живымъ товаромъ. Но Сергѣй не вѣрилъ этому. Паспортъ могъ быть подложнымъ, да и вся она скорѣе была похожа на сказочную принцессу, нежели на бѣдную мѣщаночку.

Онъ рѣдко заговаривалъ съ нею объ этомъ. А когда это случалось, она хохотала до слезъ, цѣловала его и бредила какими-то зелеными долинами и сѣдыми туманами на горныхъ вершинахъ, или начинала пѣть и кружиться, стараясь отвлечь его мысли и усыпить его подозрѣнія.

Онъ сомнѣвался въ ея любви, считая, что ласками и признаньями ея руководитъ простая благодарность кліентки къ талантливому защитнику—ея спасителю. Но, при одной мысли потерять ее, онъ холодѣлъ отъ ужаса.

Онъ отдалъ ей всю свою душу, забывъ весь міръ, забывъ Наташу, отъ которой отказался ради новой любви...

И тѣмъ не менѣе они разошлись...

Она просто и спокойно отослала его, потому что полюбила другого... Онъ хотѣлъ убить этого другого—она только презрительно засмѣялась. Тогда онъ сказалъ, что убьетъ себя, на что она разсмѣялась еще громче, смѣхомъ женщины, глубоко испорченной и гордившейся этой испорченностью.

Мерцающая тайна ея глазъ потухла для него. Сказка оборвалась недосказанная до конца...

Онъ рѣшился на послѣднее... Уѣхать въ родную глушь, повидать мать, брата, Наташу... попробовать воскресить въ себѣ жажду жизни—дѣятельностью, умершей было вмѣстѣ съ умершимъ счастьемъ, и если ничто не поможетъ — покончить съ собою.

Но его попытка вернуть жизнь оказалась напрасной.

Онъ только одинъ день пробылъ въ семьѣ и понялъ, что погибъ, что она безсильна помочь ему... Что ихъ интересы—мелкіе и ничтожные—не могутъ отрезвить и спасти его.

Жизнь улыбалась саркастической улыбкой, за которой пряталась гримаса смерти.

И онъ рѣшился...

IV.

Ночь спускалась все ниже и ниже, кутаясь въ свое темное покрывало.

Сергѣй все стоялъ у окна, машинально прижимая къ горячему лбу засвѣжѣвшіе листики сирени.

Острое, болѣзненное, почти физическое чувство отчаянія сжимало его своими тисками.

Слезъ не было—и это было ужаснѣе всего...

Онъ смотрѣлъ въ небо, безстрастное, потемнѣвшее, смотрѣлъ, полный дикой ненависти, глазами, грозя чему-то невѣдомому, отъ чего онъ тщетно ждалъ поддержки и облегченія.

Ему хотѣлось-бы замереть такъ безъ конца,— не думать, не чувствовать, а молчать, только молчать, ничего не видя и не слыша всю жизнь.

Его смерть сразитъ мать, убьетъ ее, можетъ-быть... Но легче-ли будетъ ей, когда она узнаетъ какъ нестерпимо ему жить послѣ всего, что случилось...

Жить... Одна мысль объ этомъ поднимаетъ всю горечь и желчь со дна его души...

Жизнь принесетъ муку хуже смерти. Не надо, не надо этого! Онъ усталъ и измученъ безъ того... На новую жизнь нѣтъ силы, физической силы...

Нѣтъ, нѣтъ, смерть искупитъ все, унесетъ отъ него тотъ ядовитый образъ, который однимъ своимъ напоминаніемъ приноситъ муку...

И онъ твердыми шагами подошелъ къ чемодану, блестѣвшему во мракѣ своими металлическими за-

стежками, рванулъ ремни, точно боясь раздумать, и, отбросивъ крышку, вынулъ револьверъ.

Въ ту минуту, какъ рука его, дрожащая и горячая, коснулась холоднаго дула, тихій, подавленный крикъ замеръ у окна.

Онъ быстро обернулся и выронилъ оружіе.

Прямо, смотря на него широко раскрытыми, испуганными глазами, грудью прижавшись къ подоконнику, стояла Наташа.

Она, очевидно, слышала его шаги и стоны, вырванные нестерпимо нравственной болью, и поспѣшила къ нему.

Теперь она вся дрожала, слѣдя за нимъ преданными глазами на-смерть раненаго животнаго и слова ея глухо срывались съ трепещущихъ губъ.

— Сережа! ахъ, Сережа! Господь съ тобою! Что ты задумалъ, Сережа! А мама, а я! И не жалко тебѣ... Ахъ, Сережа! Сережа!

И она плакала навзрыдъ, стараясь заглушить судорожныя рыданья, боясь разбудить весь домъ, и издали крестила его дрожащей маленькой рукою.

И только сейчасъ понялъ Сергѣй, глядя въ это милое, блѣдное измятое слезами лицо, на что способна выносливая душа русской женщины. Понялъ какое глубокое горе нанесъ онъ этому бѣдному сердцу, уступившему его безъ жалобы и слезъ...

А онъ, жалкій и несчастный смѣлъ ли онъ заполнять это бѣдное сердце—прекрасное и великое въ своемъ великодушіи? Смѣлъ ли онъ навязывать ему свое горе, такъ посыдно сразившее

его и толкавшее на самоубійство? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Онъ не нанесетъ ей новаго удара, не заставитъ плакать милые, любящіе глаза.

— Наташа! Клянусь Богомъ, Наташа!—могъ только пролепетать онъ, потому что спазма сжала и душила его горло.

— Ты будешь жить, ты долженъ жить, для мамы, для меня, для всѣхъ насъ,—говорила она, давъ ему выплакаться на ея колѣняхъ .. Въ жизни—задача. Ее разрѣшить надо, но трудно. Ты мужчина—не мальчикъ, Сергѣй... и ты поймешь меня... Я живу и даю счастье, потому что я любила и люблю, потому что у меня есть горе—моя ноша, которою я горжусь и которая не смѣетъ облегчаться смертью. Такъ не мнѣ-же, слабой дѣвушкѣ, быть тебѣ примѣромъ! Надѣюсь, ты понялъ меня?

Да, онъ понялъ ее—такую свѣтлую и прекрасную въ своемъ гордомъ сознаніи правды!

И любовь, струившаяся изъ ея глазъ, открыла, осѣнила его и онъ почувствовалъ весь ужасъ, всю мелочь и ложь своего постыднаго ничтожества.

А теплый и свѣжій эфиръ іюльской благовонной ночи брезжилъ свѣтомъ пробуждающагося утра.

V.

Сергѣй Крутининъ еще спалъ тяжелымъ и неспокойнымъ сномъ, обливая подушки холоднымъ потомъ, когда Михаилъ и Наташа вышли изъ дому.

Они пробирались узкою межою между двумя полями золотистыхъ колосьевъ.

Лицо Наташи носило слѣды безсонной ночи..

Она только-что разсказала своему жениху все случившееся съ Сергѣемъ, и теперь шла спокойная и какъ-бы уравновѣшенная послѣ всѣхъ ея волненій.

Крутининъ выслушалъ дѣвушку молча, и только его побѣлѣвшія губы выдали его безпокойство.

Когда она кончила, онъ съ чувствомъ пожалъ ея руку. Этимъ нѣмымъ пожатьемъ онъ благодарилъ ее за брата.

А кругомъ нихъ рябили легкою рябью золотые колосья шалостью маленькаго свѣжаго вѣтерка, разогнавшаго тучи съ начинавшаго было хмуриться неба. Сѣрый копчикъ выскочилъ на межу, но, увидя людей, шарахнулся въ сторону...

Движеніемъ локтя, прижимавшаго руку его спутницы, Михаилъ остановилъ ее.

— Наташа!—пытливо вглядываясь въ ея лицо, открытое воздуху и солнцу, спросилъ онъ,—хочешь, все будетъ по старому и я уступлю ему мѣсто?

Она твердо и громко отвѣтила: «Нѣтъ»,—въ то время, какъ по ея измученнымъ за послѣднюю ночь чертамъ пробѣжала минутная судорога, но глаза были такъ-же ясны, какъ и висѣвшее надъ ними голубымъ пологомъ небо.

Тогда онъ покачалъ головою и сказалъ совсѣмъ тихо:

— Какъ ты его любишь!

— Да!—такъ-же тихо и просто, въ тонъ ему отвѣтила она.

И вдругъ заплакала.

А голубой день улыбался имъ навстрѣчу лучами солнца и неба, даря жизнь то ясную и легкую, то замысловато-трудную съ ея странными и прихотливыми зигзагами.

Не ко двору.

Дождь, мелкій, холодный, настоящій октябрьскій дождь бьетъ о стекла большого сѣраго зданія.

По широкому крыльцу, зябко кутаясь въ солдатскую шинельку, ходитъ дневальный.

Гдѣ-то далеко въ темнотѣ лаетъ голодная собака.

— Михѣевъ! прошла барыня?

Передъ дежурнымъ солдатикомъ выростаетъ плотная и коренастая фигура офицера.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе!—рапортуетъ солдатикъ, вытягиваясь въ струнку.

Офицеръ легкой и быстрой походкой, не соотвѣтствующей его полной фигурѣ, вбѣгаетъ по скользкимъ и мокрымъ отъ дождя ступенямъ крыльца и, пройдя длинный, чуть освѣщенный коридоръ, по обѣ стороны котораго расположены офицерскія квартиры, звонитъ у своей двери.

На гладкой дверной доскѣ выгравировано четкимъ и жирнымъ шрифтомъ: Владиміръ Михайловичъ Звягинъ.

Денщикъ съ добродушной хохлацкой физіономіей широко распахиваетъ дверь.

— Что, Гриценко, прошла барыня?—повторяетъ и ему свой вопросъ офицеръ.

— Такъ точно, пришли-съ, ваше высокоблагородіе.

Поручикъ Звягинъ бросаетъ ему на руки шинель и шашку и, на-ходу вытирая мокрые усы, проходитъ уютную, крохотную столовую, зальце съ новенькой еще «приданной» мебелью и входитъ въ спальню, разгороженную на двѣ половины высокими голубыми ширмами.

— Ира! ты здѣсь?

Она здѣсь...

Она лежитъ на кушеткѣ въ своемъ будуарѣ, какъ они въ шутку въ первые дни замужества окрестили чистую половину своей спальни, нервная и возбужденная, какъ всегда.

Онъ иною ея и не знаетъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ началась эта ужасная исторія съ Ивановымъ. И теперь ея большіе темные глаза горятъ сухимъ и острымъ, точно горячечнымъ, блескомъ, котораго онъ такъ не любитъ и, пожалуй, даже боится.

При его появленіи, она вскакиваетъ съ кушетки и, подбѣжавъ къ нему съ живостью подростка, вскрикиваетъ:

— Ну, что?

Когда она лежитъ, то кажется маленькой и хрупкой, теперь, когда она стоитъ, ее можно назвать почти высокой.

Въ бѣломъ фланелевомъ халатѣ, какими-то прихотливыми складками драпирующемъ ея фигуру, съ блѣднымъ, подвижнымъ и болѣзненнымъ лицомъ, она не красива, но лицо ея не можетъ остаться незамѣченнымъ. Оно просится на полотно и прочно

западаетъ въ душу. Оно живетъ тысячью ощущеній сразу, это до-нельзя странное, говорящее, подвижное лицо.

— Ну, что?—говоритъ лицо всѣми мускулами, говоритъ прежде, нежели голосъ.

Поручикъ Звягинъ, избѣгая взгляда жены, цѣлуетъ ея худенькіе, необыкновенно прозрачные пальцы.

Едва замѣтная презрительная улыбка морщитъ тонкія губы Ирины и вся она какъ-то темнѣетъ и сокращается.

— Ты ничего не сдѣлалъ! я вижу, ты ничего не сдѣлалъ,—говоритъ она глухимъ, точно надорваннымъ голосомъ и, отвернувшись отъ него, тихо плачетъ...

Ея слезъ онъ выносить не можетъ, какъ не можетъ выносить ея сухого, остраго взгляда. Онъ слишкомъ любитъ ее. Въ ней одной вся его жизнь...

— Ира, дорогая, пойми!—и онъ нѣжно касается ея вздрагивающихъ плечъ.

— Нѣтъ, никогда не пойму, никогда, ни тебя, ни ихъ, никого изъ васъ! Вы мнѣ гадки, всѣ! Слышишь-ли, всѣ, всѣ, всѣ!

И голосъ становится еще глуше и рѣзче.

— Но пойми-же, это дисциплина, Ира, жизнь моя!

— Ложь! дисциплиной называешь ты мучить и истязать людей безъ всякой пользы! Эту дисциплину выдумалъ ты и тебѣ подобные. Строгость должна быть, должна быть дисциплина, но вѣдь все это не то, не то! Конечно, разъ солдатъ умышленно нарушаетъ уставы воинской повинности, съ него нельзя не взыскать, но нарочно, ради глупаго,

никому не нужнаго испытанія подвергать его случайностямъ, это мерзко и безчеловѣчно... Мерзко, пойми... А оправдывать свой поступокъ требованіями дисциплины — еще гаже, Владиміръ, еще отвратительнѣе!

— Но, постой, Ира... ты сама сейчасъ сказала, что взысканіе необходимо на случай уклоненія отъ служебныхъ обязанностей. Милая, а какъ-же провѣрять эти служебныя обязанности? Не посредствомъ-ли испытаній или набѣговъ, какъ ты называешь?

— Подлыхъ и разбойничьихъ, прибавь! Нѣтъ! тысячу разъ нѣтъ и нѣтъ! Ахъ, уйди ты отъ меня, ради Бога, мы говоримъ на разныхъ языкахъ и никогда не поймемъ другъ друга...

И, повернувшись къ мужу спиной, Ирина идетъ за голубыя ширмы.

Онъ остается въ нерѣшимости, жалкій и уничтоженный, не зная, что дѣлать... Начать успокаивать жену—значило-бы раздражать ее еще больше. Согласиться съ нею—значило-бы измѣнить своимъ принципамъ, запавшимъ твердо и прочно въ его душу съ юнкерской скамьи вмѣстѣ съ знаніями тактики и фортификаціи.

Онъ подходитъ къ окну... Вглядывается въ скользкую, мокрую октябрьскую ночь...

Дождь шлепаетъ по прежнему гулкими каплями о крышу зданія... По прежнему въ темнотѣ лаетъ голодная собака.

А на душѣ грустно невыразимо...

—.Ваше высокородіе, господа васъ спрашиваютъ,—раздается съ порога густой басъ Гриценко.

— Кто еще?—хмуритъ брови Звягинъ.

— Такъ что поручикъ Бойницкій, адъютантъ, капитанъ Махнѣевъ.

— Сейчасъ, скажи. Ира, ты не выйдешь?

— Избавь, пожалуста,—слышится изъ-за ширмъ.

— Ну, такъ пришли, пожалуста, варенья, булокъ, перекусить чего-нибудь...

— Хорошо, я пришлю съ Гриценко.

— Ирочка, и водочки?

— Хорошо, хорошо. Уйди пожалуста.

Онъ, однако, на этотъ разъ не слишкомъ покоренъ. За голубыми ширмами лежитъ она—его жена, такая странная и возбуждающая его своею странностью,—такая чужая и новая... Постоянно новая и чужая... За эту отчужденность онъ и влюбленъ въ нее, какъ мальчикъ.

— Ира,—шепчетъ онъ, зайдя за ширмы и склоняясь къ ея лицу.—Ира!—ты мое счастье!

— Ложь!—громко кричитъ она, такъ громко, что онъ въ испугѣ косится на дверь. — Ложь! Еслибъ это было дѣйствительно такъ,—ты-бы хранилъ свое счастье и сдѣлалъ все возможное, чтобы спасти этого несчастнаго Иванова.

И вдругъ, совсѣмъ неожиданно, она бьется въ конвульсіяхъ и рыданьяхъ...

— Ира, Ира,—испуганно шепчетъ Звягинъ, силясь оторвать отъ подушки ея волнистую голову съ разсыпавшимся узломъ бѣлокурыхъ косъ,—Ирочка, тише... Могутъ услышать... Тамъ посторонніе...

Но она не можетъ перестать... Слезы раскаленнымъ свинцомъ давятъ и жгутъ ея горло... Голова

горитъ. Въ ней тотъ-же свинецъ... тѣ-же слезы и тоска безысходная... И только глаза, одни глаза, мокрые отъ слезъ, но злые и прекрасные повторяютъ все время:

— Уйди! уйди отъ меня!

И онъ, наконецъ, понимаетъ эту нѣмую просьбу, граничающую съ приказаніемъ, и уходитъ, проклиная ни въ чемъ неповинныхъ товарищей, забѣжавшихъ «на огонекъ».

Ира долго лежитъ по уходѣ мужа... Нервы падаютъ и замираютъ... Сердце не рвется отъ острой боли, оно ноетъ и зудитъ... Въ душѣ смутно, тревожно. Живого мѣста въ ней не осталось. Все изныло, переболѣло... И теперь одна тупая тоска...

Вспоминаніе о несчастномъ Ивановѣ въ душѣ, въ мысляхъ и сердцѣ... Оно окружаетъ ее тяжелымъ и смраднымъ туманомъ, отъ котораго нѣтъ спасенья...

Какъ это началось?

Да... она помнитъ, помнитъ все съ мучительною ясностью. Онъ, этотъ Ивановъ, былъ дежурнымъ у цейхгауза. Подошелъ Владиміръ... какимъ-то глупымъ и подлымъ пріемомъ выманилъ ружье и когда тотъ, не имѣвшій право отдать оружіе на посту, передалъ его по забывчивости офицеру, Владиміръ изругалъ его, обвиняя въ незнаніи службы и неумѣньи быть солдатомъ. Потомъ посадилъ подъ арестъ.

Съ этого и началось...

Примѣрный служака, молодецъ и красавецъ Ивановъ, загрустилъ и запилъ... А тамъ пошло и по-

шло... Недѣли двѣ тому назадъ его нашли пьянаго у манежа въ обществѣ продажныхъ женщинъ. И когда дежурный офицеръ ударилъ его, онъ наговорилъ ему грубостей и чуть-ли не угрозъ...

Этого было достаточно... Его судили... судили, какъ говорятъ, гуманно, потому что только приговорили къ дисциплинарному баталіону...

Завтра на зарѣ его отправятъ на станцію, гдѣ его будутъ ждать еще двое, двое такихъ-же несчастныхъ.

Дисциплинарный баталіонъ!..

Ира вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ при одномъ представленіи объ этомъ ужасѣ.

Еженедѣльныя розги съ барабаннымъ боемъ... постоянные темные аресты, полное отсутствіе человѣческаго начала съ одной стороны и подлая безотвѣтно-животная забитость съ другой...

А у этого Иванова были принципы... Онъ любилъ свою службу и несъ ее лихо, молодецки, на примѣръ всему полку. Его солдатское самолюбіе попрали, его гордость сломали и онъ погибъ... И изъ-за чего? Изъ-за никому ненужнаго рвенія офицера... Изъ-за какого-то глупаго испытанія, погубившаго человѣка!

И какого человѣка! Любимца полка, веселаго, добродушнаго, съ чудесной выправкой, исполнительностью, рвеніемъ! И ни одна душа не протестовала! Его приговорили въ назиданіе другимъ больше, нежели въ наказаніе за проступокъ...

И все-таки приговорили... И все-таки погибъ человѣкъ!

И виною всему ея мужъ, Владиміръ Звягинъ,

эта мелочность и суетность, облеченная въ офицерскій мундиръ! О, какъ она его ненавидитъ за все, за все. Она его никогда не любила.

Мать сказала ей: «Иди за него. Онъ тебя любитъ, какъ никто не полюбитъ никогда». И она пошла...

Она поняла, что мужчины смотрятъ на нее охотнѣе, нежели на другихъ дѣвушекъ ея круга. Она безъ красоты прекрасна. Въ ней что-то особенное, что бьетъ по нервамъ и туманитъ разсудокъ... Она совсѣмъ, совсѣмъ не такая, какъ другія. Она странная. И это странность влечетъ къ ней и влюбляетъ въ нее многихъ, многихъ...

— У нея многообѣщающее лицо!—сказалъ одинъ циникъ.

— За такую умереть можно!—подтвердилъ другой.

Да, умереть, но не жениться. Она поняла это очень скоро и безъ колебаній пошла къ алтарю объ руку съ Владиміромъ Звягинымъ, первымъ полюбившимъ ее серьезно. Она знала, что это первый и послѣдній. Она слишкомъ опасная жена, слишкомъ особенная... слишкомъ требовательная...

Она пошла за Звягина, какъ королева за своего подданнаго.

— Вы меня любите?—спросилъ онъ.

— За что?—огорошила она его отвѣтомъ.

Онъ смутился...

Тогда она взглянула на него большими гордыми глазами и сказала:

— Сумѣйте заставить меня полюбить васъ!

Но онъ не сумѣлъ... несчастный. Несчастный

потому, что любилъ ее и не могъ понять ея сложной натуры.

Они зажили на видъ сносно,—у себя ужасно...

Всему виной были взгляды, въ которыхъ они расходились. Ирина чувствовала особенную жалость ко всей этой меньшей братіи сѣрыхъ шинелей, сѣрыхъ лицъ и сѣрыхъ умовъ, простыхъ и не злобныхъ... Она видѣла ихъ унылую долю, ихъ безотвѣтную покорность и жила въ какомъ-то трепетѣ за нихъ. Она была ихъ заступницей передъ начальствомъ.

И они платили ей тѣмъ-же. Сестра милосердія во время военныхъ дѣйствій не пользовалась-бы навѣрное такою любовью, какою пользовалась Ира.

Какъ они ее благотворили!

— Звягиха идетъ, братцы, Звягиха!—крикнетъ бывало какой-нибудь невзрачный солдатикъ ихъ роты и полроты высыпаетъ на улицу и привѣтствуетъ ее весело и радостно:

— Здравія желаемъ, барыня!

И какъ ей весело отъ этихъ нехитрыхъ привѣтствій, какъ ей близки всѣ эти некрасивыя, порой даже безобразныя лица! Сколькихъ изъ нихъ она избавила отъ наказаній, арестовъ, стояній подъ ружьемъ. Идя на прогулку объ руку со своимъ плотнымъ, коренастымъ мужемъ, она навѣрное знала, что сзади нихъ крадутся приговоренные къ аресту солдатики и ожидаютъ прощенія. И она пристаетъ къ мужу до тѣхъ поръ, пока тотъ не проститъ. Владиміръ Михайловичъ и бранится, и злится, и все-таки не можетъ отказать высокой,

тонкой женщинѣ, которой отдалъ и свои думы, и свое сердце... По субботамъ она посылала потихоньку отъ мужа ситный и колбасы въ казарму, купленные на деньги, скопленныя отъ хозяйскихъ сбереженій.

Вѣрный Гриценко служилъ живою почтою между квартирой поручика и ихъ ротою. За барыню онъ былъ готовъ полѣзть въ огонь и воду, въ барынѣ онъ души не чаялъ за ея заступничество передъ строгимъ и взыскательнымъ поручикомъ.

Полковыя дамы не любили Ирины, чуждались ея и какъ будто боялись. Офицеры-товарищи мужа смотрѣли на нее, какъ на блажную и всѣ, за нѣкоторымъ исключеніемъ, трунили надъ нею.

И она платила имъ тою-же монетою, ненавидя ихъ за эгоистичность, узость взглядовъ и мелочность. Особенно-же за право сильнаго надъ слабымъ, примѣняемое ими къ подчиненнымъ.

Теперь, въ этотъ октябрьскій вечеръ, подъ гулкій шумъ осенняго дождя и говоръ, долетающій изъ сосѣдней комнаты, ея мысли вертятся съ поразительной быстротой около несчастнаго Иванова... Всѣ ея нервы, поднятые до-нельзя, ея сердце и мозгъ—все полно ими. Спасти Иванова, спасти чего-бы это ни стоило, спасти, спасти, спасти...

Слезы изсякли... Прежній мрачный огонь загорается въ глубинѣ ея потемнѣвшихъ зрачковъ, ставшихъ громадными...

Быстро вскакиваетъ она съ постели, накидываетъ платокъ поверхъ своего бѣлаго, фантастическаго халата и, не глядя въ зеркало, не попра-

вивъ выбившуюся непослушную прядь, идетъ въ столовую, откуда слышатся голоса и жизнь . . .

. . . . . .

Они всѣ тутъ... Всѣ трое... и ея мужъ тутъ-же, довольный и самоувѣренный. Ни тѣни недавняго волненія...

— Ирина Павловна!—гудитъ мягкій басъ капитана Махнѣева—тучнаго, рыжаго, добродушнаго великана, съ торчащими во всѣ стороны тараканьими усами.

Ирина не можетъ видѣть его безъ улыбки... А когда улыбка трогаетъ это блѣдное лицо,—оно дѣлается почти прекраснымъ.

Эта улыбка отражается на всѣхъ присутствующихъ. Ея мужъ становится еще довольнѣе и самоувѣреннѣе. У капитана забавно морщатся щеки и усы принимаютъ совсѣмъ новое направленіе. Адъютантъ Маслинъ, худенькій, бѣленькій, нѣженькій, какъ шестнадцатилѣтняя дѣвочка офицерикъ, такъ и заливается безпричиннымъ, счастливымъ смѣхомъ. Поручикъ Бойницкій молчитъ. Но Ира знаетъ, что въ этомъ молчаніи борьба. А въ борьбѣ страсть, которой она не хочетъ и которой боится.

Бойницкій высокій, гибкій офицеръ съ удивительно красивымъ лицомъ, съ улыбкой дерзкой и восхитительной въ одно и то-же время...

Всѣ трое—они влюблены въ Иру.

Добродушный Махнѣевъ тайно и почти безсознательно, адъютантъ явно и восторженно, а Бойницкій и сознательно, и зло, и тайно, и явно—съ тѣмъ упорствомъ и опьяненіемъ, которое готово сломать, погубить, уничтожить и себя, и своего кумира...

Ира знаетъ чувства своихъ «рыцарей», какъ ихъ въ шутку называетъ Владиміръ, и къ каждому изъ нихъ относится различно. Махнѣева «выноситъ» за его безвредность и простоту, адъютанта презираетъ за его ничтожество, а Бойницкаго боится, боится и ненавидитъ. Между ними борьба, постоянная борьба, за солдатъ особенно. Съ солдатами Бойницкій жестокъ и безчеловѣченъ. Въ его ротѣ образцовый порядокъ, и Ира знаетъ, какими путями онъ достигнутъ. И она ненавидитъ Бойницкаго...

Вотъ и сейчасъ она смотритъ на его тщательно съ проборомъ причесанную голову, на его холеныя руки, съ самоувѣренной плавностью сдающія карты, на его улыбку, открывающую рядъ ослѣпительно-бѣлыхъ зубовъ подъ темными шелковистыми усами, и онъ ей дѣлается противенъ и гадокъ.

Она отлично знаетъ, что никто-иной, какъ онъ, ударилъ у манежа пьянаго Иванова и вызвалъ его на дерзость. Она знаетъ, что своей гибелью Ивановъ обязанъ этому безсердечному, холодному человѣку съ холеными руками и дерзкой улыбкой.

Она знаетъ слова Иванова, грозившаго послѣ приговора Бойницкому:

— Погоди, родимый, до батальона дождемъ, а только и оттуда ходы есть!—говорилъ подсудимый.

И Ирина злобно радовалась на эти слова, переданныя ей вѣрнымъ Гриценко.

— Хоть-бы онъ убилъ его, зарѣзалъ, уничтожилъ!—въ изступленіи твердятъ ея мысли, не находящія исхода.

И снова Ивановъ, блѣдный и худой, какимъ она видѣла его въ послѣдній разъ, предстаетъ передъ ея мысленными взорами.

Она смотритъ съ ненавистью на улыбающееся прекрасное лицо Бойницкаго и взгляды ихъ скрещиваются. Его глаза, сухіе и недобрые, полны теперь алчнаго блеска, выдержать котораго она не въ силахъ... Ненавистные глаза, зацѣлованные, можетъ-быть, десятками женщинъ... И они будутъ жить и смотрѣть, въ то время какъ мучается Ивановъ и десятки другихъ, можетъ быть такихъ-же несчастныхъ, погибающихъ игрою глупаго и пошлаго произвола.

— Какая гнусность,—говорятъ ея глаза, погружаясь взглядомъ въ глаза Бойницкаго. — Какая гнусность —губить человѣка и спокойно и пріятно пить, ѣсть и играть въ карты!

— Ты прелесть! — отвѣчаютъ, не понявъ ея взгляда, его дерзкіе и холодные глаза. Ты женщина о которой я всегда мечталъ и какой еще не встрѣчалъ до сихъ поръ. Я безумно хочу обладать тобою.

Она вспыхиваетъ до корней волосъ, до высокой тонкой шеи, выходящей изъ широкаго отложного ворота халата, вспыхиваетъ отъ гнѣва и презрѣнія. Ея мужъ ничего не видитъ. А если и видитъ, такъ что жъ такое? Вѣдь это такъ понятно, что ею восхищаются окружающіе. Она такая особенная... Такихъ еще не видѣли въ ихъ захолустьѣ... потомъ, онъ слишкомъ вѣритъ въ ея чистоту и безупречность...

Сейчасъ онъ въ своей сферѣ... Онъ говоритъ... говоритъ.. говоритъ... все на одну и ту-же тему.

Дисциплина... дисциплина... и дисциплина. Долгъ службы важнѣе всего: отца, матери, семьи и дѣтей. Даже любимая женщина должна быть принесена въ жертву ради этого долга. Таковъ его взглядъ, таково его убѣжденіе... И на солдатъ онъ, во имя этого-же долга, не можетъ смотрѣть иначе. Это дѣти, неразумныя животныя; въ нихъ надо вбивать дисциплину.

— Вбивать? — повторяетъ машинально Ирина, однѣми губами, безъ участія мысли и сердца.

— Да, вбивать!—докладываетъ (именно докладываетъ) нудный, ровный голосъ съ противными подчеркиваніями и закругленностями словъ,—голосъ, напоминающій крупную дробь барабана—ненавистный голосъ!

— Да, да, какъ дѣтей и животныхъ,—подтверждаетъ голосъ,—надо бить и дѣйствовать на нихъ, какъ на существъ неразумныхъ, страхомъ тѣлесныхъ наказаній, потому что съ дѣтства они не знаютъ иного обращенія. Съ первыхъ годовъ жизни ихъ бьетъ сестра-нянька, бьютъ товарищи-подростки, братья, отецъ, бьютъ сотскіе, десятскіе, старшина въ волости за провинность передъ обществомъ или семьею. Одна мать ихъ не бьетъ или бьетъ меньше, за то они сами побьютъ ее, какъ выростутъ, подъ пьяную руку въ благодарность за гуманное обращеніе.

— О, какой ужасъ! Какой ужасъ! — говоритъ Ирина и закрываетъ лицо руками.

— Нѣтъ, не ужасъ, а жизнь!—вторитъ другой голосъ, пріятный, не менѣе ей ненавистный голосъ Бойницкаго.

— Надо проще смотрѣть на жизнь, Ирина Павловна,—подхватываетъ добродушный Махнѣевъ, — эти самые невинные по-вашему мученики-солдаты приходятъ валяться въ ногахъ послѣ совершеннаго проступка, умоляя наказать ихъ отечески, не предавая суду.

— И вы наказываете?

— Ну, разумѣется! Изобьешь его, подлеца, чтобъ долго помнилъ и отпустишь съ миромъ.

— Это не то, Махнѣевъ, это вы по добротѣ своей...—слабо улыбнулась Ирина.—Но отчего-же Бойницкій не избилъ того-же Иванова у манежа, а предалъ его суду?

— Это былъ не проступокъ, а преступленіе, преступленіе передъ закономъ службы... и оскорбленіе начальства...

— Такъ зачѣмъ было предавать это гласности, убивать безъ оружія, губить на всю жизнь? У этого Иванова, говорятъ, невѣста... или даже больше того. Я слышала о ребенкѣ... И потомъ онъ былъ до сихъ поръ примѣрный служака,—исполнительный, славный...

— Тѣмъ больше вина его... Тѣмъ строже надо отнестись къ его винѣ. Что дѣлать, Ирина Павловна!

— Что дѣлать, Бойницкій? Что дѣлать!—и голосъ Ирины дѣлается глухимъ, какъ у трудно-больного,—что дѣлать? Такъ я скажу вамъ сейчасъ что надо дѣлать: бросить карты, идти къ командиру и сказать ему: «Полковникъ, виноватъ не Ивановъ, а я — поручикъ Бойницкій, потому что вызвалъ пьянаго Иванова на грубость: ударилъ его и раз-

будилъ въ немъ звѣря вмѣсто того, чтобы отправить его подъ арестъ». На то, что Ивановъ былъ пьянъ, никто не упиралъ въ судѣ. Онъ былъ дерзокъ, оскорбилъ начальство, нарушилъ дисциплину,—говорили всѣ, и никто не указалъ на то, что онъ былъ въ состояніи невмѣняемости. Надо пойти и сказать все это командиру и вымолить помилованіе Иванову. И тогда только можно жить на свѣтѣ, господа...

Рѣчь Ирины круто обрывается. Ея лицо блѣдно какъ полотно. Глаза загораются нестерпимо... Ее знобитъ и лихорадитъ... А въ головѣ идетъ какая-то сложная и копотная работа... Точно въ мозгу поселились маленькіе гномы и ударяютъ тамъ своими крохотными молотками. Она ждетъ до боли во всемъ существѣ... Ждетъ отвѣта... Офицеры молчатъ... Ихъ спокойствіе мучитъ ее... Бойницкій блѣденъ и золъ, стараясь не дать замѣтить своего смущенія.

— Ну? — стономъ вырывается изъ груди Ирины.—Бойницкій! Да что-же вы молчите?—почти кричитъ она въ упоръ офицеру.

И всѣмъ становится неловко.

— Въ такомъ случаѣ вамъ придется лишить меня жизни, Ирина Павловна, потому что я не пойду къ командиру просить за это животное, заслуживающее скорѣе висѣлицы, нежели дисциплинарнаго баталіона...

Онъ встаетъ изъ-за стола, блѣдный и спокойный, какъ всегда, избѣгая, однако, ея взгляда.

Она смѣется, не скрывая значенія этого смѣха. Неловкость между присутствующими увеличивает-

ся... Всѣмъ тяжела и непріятна эта сцена и всѣ ждутъ исхода...

За двойной рамой, заглушая на мгновенье шумъ дождя, долетаетъ звонкая трель барабана. Это призывъ къ молитвѣ и перекличкѣ...

Адъютантъ торопливо вскакиваетъ и, наскоро простившись, бѣжитъ съ вечернимъ рапортомъ къ командиру. Махнѣевъ и Звягинъ спѣшатъ въ роты. Бойницкій подходитъ проститься къ Иринѣ.

Ея рука холодна и безжизненна, а лицо пылаетъ горячимъ румянцемъ.

Ей гадко, невыразимо гадко прикосновеніе его губъ къ ея захолодѣвшей кисти и она брезгливо выдергиваетъ руку изъ его пальцевъ.

Онъ удаляется, пожавъ плечами, готовый проглотить всѣ оскорбленія «ненормальной» женщины, какъ мысленно называетъ Ирину...

Онъ ушелъ, а она все еще стоитъ у окна, вглядываясь въ темную, ненастную октябрьскую ночь... Его шаги съ металлическимъ звукомъ шпоръ удаляются... потомъ приближаются снова. Вотъ они ближе, ближе, здѣсь, около, рядомъ. Она поднимаетъ больную голову.

Передъ ней Бойницкій.

— Вы? опять вы, ужасный человѣкъ!

— Я не могу уйти отъ васъ... Вы сердитесь на меня. Поймите, я люблю васъ, Ирина.

И голова его снова склоняется къ ея рукѣ.

— Какъ вы смѣете, Бойницкій.

— Любовь все смѣетъ. А я люблю васъ.

— Я ненавижу васъ, какъ злѣйшаго врага!

— Знаю.

— И все-таки ищете моей любви?

— И все-таки, Ирина!

— Не смѣйте меня называть такъ!

И глаза ея полны яда ненависти.

— Любовь все смѣетъ, повторяю вамъ.

— Ага!.. любовь, значитъ, смѣетъ приносить жертвы. Она смѣетъ быть смѣлой и прямой. Она— правда. Ступайте же къ командиру и спасите Иванова. Это будетъ жертва, Бойницкій, и я принимаю ее.

— И?

Глаза его полны вопроса, чистые, гордые глаза...

— И вы будете моею... О! Иду, иду къ командиру! Иду, моя милая, моя несравненная.. Моя мучительница!

Онъ хватаетъ ея руки, безсильныя и холодныя... Его дыханіе близко отъ нея... Его губы на ея щекахъ, глазахъ, шеѣ...

Темный туманъ сгущается надъ нею... Что-то ноетъ и бьется въ груди...

— Пойдите вонъ, вы мнѣ гадки! — стономъ рвется изъ ея груди, и слезы безсилія, злобы и униженія катятся по лицу.

Онъ смотритъ на нее, ничего не понимая...

Потомъ, встрѣтивъ ея взглядъ, тупой и отчаянный, полный презрѣнія и брезгливой жалости, поспѣшно уходитъ.

Темный туманъ точно проясняется надъ головою Иры, но гномы съ ихъ молоточками работаютъ еще усерднѣе въ ея мозгу... Шатаясь, бредетъ она въ спальню . . . . . .

. . . . . .

Ночь—долгая, какъ вѣчность, какъ вѣчность томительная ночь... И нѣтъ ей конца...

Темные сны граничатъ съ кошмарами... Темные кошмары граничатъ со снами.

Она видитъ толпу сѣрыхъ шинелей... Кучку офицеровъ въ сторонѣ... Что-то безобразно распростертое на землѣ. Какая-то груда прутьевъ... Она содрогается во снѣ, понявъ ихъ значеніе... Кровь на тѣлѣ лежащаго... Стоны и вопль, заглушенные барабаннымъ боемъ...

— Дисциплинарный батальонъ,—четко выговариваетъ воспаленный мозгъ и вся она обливается холоднымъ потомъ.

Потомъ блѣдное, искаженное лицо Иванова... Онъ сидитъ на барабанѣ и говоритъ скоро, скоро, вытирая со щекъ слезы и кровь:

— Не спасла-таки... не спасла отъ гибели, отъ срама, а какъ обѣщала... Мнѣ что... Невѣста осталась... не успѣли грѣха прикрыть... Погибла ни за что дѣвка... А ты могла спасти и не спасла... Сраму побоялась... Себя пожалѣла... А сама про жертвы толковала. О, подлая! какъ и они подлая! одного, знать, съ ними поля ягода! Дьяволы, дьяволы, вы всѣ дьяволы!

— Бойницкій, Бойницкій! гдѣ онъ?—кричитъ, мечась по постели, Ирина.—Сюда, сюда, скорѣе, пока не поздно! Спасите его... невѣсту... ребенка. Скорѣй къ командиру... Спѣшите, во имя Бога, Бойницкій!

А ночь равнодушная и молчаливая и безжалостная скользитъ надъ сонной землею...

И нѣтъ ей дѣла до измученной тоненькой жен-

щины, обливающей подушки слезами и потомъ и до несчастнаго заключеннаго, проводящаго послѣдніе часы подъ мирной кровлей полковой гауптвахты. . . . . .

. . . . . .

— Ира! Ты приказала разбудить себя. Сейчасъ проведутъ Иванова,—слышится сквозь сонъ голосъ Звягина. Она быстро вскакиваетъ и садится на постели. Ея глаза совсѣмъ не сонные смотрятъ бодро и трезво куда-то мимо него.

— Ира, дорогая, сейчасъ проведутъ Иванова. Ты велѣла разбудить себя, чтобы посмотрѣть на него изъ окошка,—повторяетъ онъ, думая, что она не слышитъ.

Она смотритъ все также... и точно прислушивается... Потомъ прикладываетъ къ головѣ своей бѣлый, тонкій, слабый, какъ у ребенка палецъ, сдвигаетъ брови и... смѣется. Сначала тихо, тихо, потомъ громче и громче и вдругъ разражается неудержимо звонкимъ хохотомъ, отъ котораго дѣлается холодно и жутко на сердцѣ.

— Какъ проведутъ? развѣ ты не знаешь? Его простили! да простили, — говоритъ она съ трудомъ удерживая приступы смѣха.—Ты ничего не знаешь? О, это смѣшная исторія! Отчего ты не смѣешься?

— Что съ тобой? Ради Бога, что съ тобой, моя Ира?—почти стонетъ Звягинъ, смутно угадывающій истину.

— Простили... простили,—твердитъ она,—всѣ трое простили: и Богъ, и командиръ, и Бойницкій.

И опять хохотъ. Жуткій, неудержимый . . .

. . . . . .

Подъ окнами, стуча сапогами и прикладами, прошли солдаты... Въ воздухѣ протрещала чистая дробь барабана. Приговоренный поднялъ исхудалое лицо къ окну Звягинской квартиры и медленно перекрестилъ воздухъ. Въ этомъ тихомъ благословеніи солдатика заключалась и благодарность и признательность, и мольба за ту, которая такъ горячо вступилась за него.

И онъ перекрестилъ ее, не зная чего просить ей у Бога.

. . . . . .

Просить было нечего, кромѣ вѣчнаго покоя и тихаго мира... Нервная горячка сдѣлала свое дѣло...

Когда черезъ три дня ее хоронили, весь полкъ съ полковыми дамами присутствовалъ на обрядѣ у открытой могилы высокой, тонкой женщины. . Ея мужъ рыдалъ, какъ безумный.

— Непонятная, — говорила толстая капитанша худенькой поручицѣ.—Она, душечка, всегда была непонятная.

— Да и не ко двору она намъ была,—замѣтила тонкая, какъ жердь, супруга полкового доктора.

— Не ко двору, не ко двору!—затрещали дамы.

— Не ко двору,—просвистѣлъ рѣзкій октябрьскій вѣтеръ.

— Не ко двору,—зашептали вѣчно зеленыя верхушки сосенъ...

— Не ко двору!—разнеслось далеко... далеко...

Бойницкій былъ сосредоточенъ и блѣденъ...

СОДЕРЖАНІЕ.

	стр.
Бобикъ	3
Прощеніе	23
Кисъ-кисъ	41
Милочка	66
Безсмертіе	82
„Мальчишка“	96
Не судьба	109
Во имя любви	118
Не ко двору	136

Имѣются на складѣ въ книжн. маг. П. П. СОЙКИНА—СПБ., Невскій, 96.

Мальтузіанизмъ и дѣторожденіе.

(Медико-соціологическіе этюды). Доктора *А. Б. Ровенбаума.*

Содержаніе: Предисловіе. Введеніе. Мальтусъ и его послѣдователи. Наука, опытъ и разумъ, какъ противники мальтузіанизма. О размноженіи животныхъ и человѣка. Ученіе Мальтуса предъ судомъ физіологіи. Половое влеченіе. Вредное вліяніе фальсификаціи любви и ея неизбѣжныя послѣдствія. Исторія происхожденія мальтузіанизма. Искусственный выкидышъ. Вытравленіе плода. Бракъ и безбрачіе. Половое воздержаніе (abstinentia sexualis) и цѣломудріе. Этика и ея отношеніе къ мальтузіанизму. Что дѣлать?

Цѣна 1 руб.

Разборныя модели человѣка.

Наружныя формы тѣла. Кровообращеніе. Мускулатура человѣка спереди. Нервная система. Видъ задней поверхности человѣка изнутри. Брюшныя внутренности. Легкое. Сердце. Мышцы человѣка сзади. Скелетъ спереди. Скелетъ сзади.

Съ краткимъ очеркомъ анатоміи, составл. д-ромъ **К. З. Яцута.**

Цѣна: модель мужского тѣла 75 коп., съ перес. 1 руб. — коп.
» женскаго » 75 » » » 1 » — »
» муж. и жен. » 1 руб. » » 1 » 25 »

ЖЕНЩИНА,

ЕЯ КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, ГИГІЕНА, РЕЦЕПТЫ и УКАЗАНІЯ.

Сочиненіе доктора **Р. Бокеръ.**

„Только въ здоровомъ тѣлѣ и душа здорова". Этотъ древне-римскій афоризмъ долженъ бы быть именно въ нашъ нервный вѣкъ, когда жизнь представляетъ одну сплошную борьбу за существованіе, борьбу постоянную, непрерывную, истощающую всѣ физическія и душевныя силы современнаго человѣчества, первымъ девизомъ всѣхъ мыслящихъ людей. Однако, если въ борьбѣ за существованіе на долю мужчины выпадаетъ самая тяжелая сторона и онъ сплошь и рядомъ не имѣетъ физической возможности и подумать объ уходѣ за своимъ тѣломъ, то сама природа, предназначившая женщинѣ быть женою и матерью, вмѣняетъ ей въ обязанность, заботясь о себѣ, позаботиться о здоровомъ и сильномъ потомствѣ, этомъ будущ мъ оплотѣ, этой надеждѣ государства. Дать женщинѣ въ руки краткое, общедоступное и вмѣстѣ съ тѣмъ серьезное, далекое отъ всякаго шарлатанства руководство къ наилучшему исполненію возложенной на нее природою задачи и имѣетъ въ виду предлагаемая книга, прекрасная, изящная внѣшность при сжатости и все-таки наивозможной полнотѣ содержанія сдѣлаютъ высокополезный трудъ доктора **Р. Бокера** желанною книгою въ каждой интеллигентной семьѣ.

Цѣна въ изящномъ переплетѣ 1 руб.

Съ требованіями обращаться въ книжный магазинъ П. П. Сойкина, СПБургъ, Невскій, 96, уг. Надеждинской.

Имѣются на складѣ въ книжн. маг. П. П. СОЙКИНА СПБ., Невскій, 96.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

Наброски студенческой жизни. *Б. Гегидзе.* Цѣна 1 руб.

ЯПОНІЯ и КОРЕЯ.

Очеркъ государственнаго хозяйства, общественнаго строя, быта и военной организаціи съ приложеніемъ карты военныхъ дѣйствій. *П. Г. Ал—а.* Съ иллюстраціями по фотографіямъ. Цѣна 30 коп.

Доходъ отъ изд. поступ. на усиленіе Русскаго флота.

БОГИ ЯПОНІИ.

Популярный очеркъ вѣрованій японцевъ. *Г. Г. Генкеля.* Съ рисунками В. В. Муйжеля. Цѣна 50 коп.

ВЪ СТРАНѢ ГЕЙШЪ.

Воспоминанія объ Японіи. *Д-ра А. В. Елисѣева.* Съ рисунками художн. Э. Соколовскаго. Цѣна 50 коп.

ДУША ВОСТОКА.

Религія Великаго Будды. Догматы Буддійской религіи. *П. Лихарева.* 2-е изд. Цѣна 30 коп.

ВЪ МАНЬЧЖУРІИ.

Первыя впечатлѣнія. Отношенія съ китайцами. Русская культура въ Маньчжуріи. Китайское незнаніе иноземцевъ и ассимиляція. Главнѣйшіе русскіе центры въ Маньчжуріи: Инкоу, Мукденъ, Гиринъ. Главнѣйшія черты быта китайцевъ. Главнѣйшіе промыслы Маньчжуріи. Русская торговля въ Маньчжуріи. Хунхузничество. Какъ живутъ русскіе люди въ Маньчжуріи. *Сергѣя Рунина.* Цѣна 1 руб.

О СЧАСТЬѢ.

Психологическіе очерки *Н. Лухмановой.* Изящное изд. 142 стран. Цѣна 75 коп.

О СЛАВѢ.

Н. М. Соколова. 80 страницъ. Цѣна 50 коп.

Съ требованіями обращаться въ книжный магазинъ П. П. Сойкина, СПБургъ, Невскій, 96, уг. Надеждинской.

Каменскій, А. П.

Степные голоса. Разск. 236 стр. Цѣна 1 руб.

Каразинъ, Н. Н.

Съ сѣвера на югъ. Романъ въ 2-хъ томахъ. 664 стран. Цѣна за 2 тома 3 руб.

Въ пороховомъ дыму. Романъ въ 2-хъ том. Ц. за 2 том. 2 р. 50 к.

Въ погонѣ за наживой. Романъ. Цѣна 2 руб.

На далекихъ окраинахъ. Романъ въ 3-хъ част. 346 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Красновъ, П. Н.

Любовь Абиссинки. Повѣсти и разсказы. 352 стр. Цѣна 1 руб.

Коринфскій, Аполлонъ.

Поэзія К. К. Случевскаго. Этюдъ 112 стр. Ц. 60 к.

Д. Н. Садовниковъ и его поэзія. 112 стр. Ц. 50 к.

Лебедевъ, В. П.

Тихія пѣсни. Стихотвор. 208 стр. Цѣна 1 р.

Лухманова, Н. А.

О счастьѣ. Психологическ. очерки. Изящн. изданіе. 142 стр. Ц. 75 коп.

Михайловъ, Д. Н.

Лирика К. Р. въ связи съ исторіей русской поэзіи во вторую половину XIX вѣка. 168 стр. Ц. 75 к.

Осетровъ, З. Ѣ.

Сорокъ пьесъ изъ жизни народа. Одноактныя драмы, комедіи и шутки. 822 стр., съ 40 рисунк. художника А. Апсита. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

Драмы, комедіи, водевили и феерія. 480 стр. Цѣна 1 р., съ перес. 1 руб. 50 коп.

На родной землѣ. Повѣсти и разсказы изъ народнаго быта. Цѣна 75 коп., съ перес. 1 руб.

Въ отд. издан. каждый разсказъ стоитъ 8 коп., съ перес. 10 коп.

Шутъ Балакиревъ. Повѣсть изъ временъ царствованія Петра Великаго. Къ 200-лѣтію С.-Петербурга. 136 стр. Цѣна 40 к., съ перес. 50 коп.

Павлищевъ, Левъ.

Кончина А. С. Пушкина (изъ семейныхъ воспоминаній). Составилъ его племянникъ. 104 стр. Ц. 50 к.

Плетневъ, А.

Парижскіе уголки. Разсказы. 185 стр. Цѣна 1 руб.

Случевскій, К. К.

Отъ поцѣлуя къ поцѣлую. Ром. 302 стр. Цѣна 1 руб.

Повѣсти и разсказы. I. Городской голова. II. Трусъ. III. Она скучала. IV. Костры. 400 стр. Ц. 1 р.

Новыя повѣсти. I. Балетная. II. Одна изъ встрѣчъ съ Тургеневымъ. III. «Разсказъ-Симфонія». IV. На трешкотѣ. V. Убилъ? не убилъ? VI. Нетопыри и совы. VII. Лучи. 392 стран. Цѣна 1 руб.

Соколовъ, Н. М.

Лирика Я. П. Полонскаго. Критическій этюдъ. 100 стр. Ц. 60 к.

О славѣ. 80 стр. Ц. 50 к.

Соловьевъ-Несмѣловъ, Н. А.

Незамѣтные люди. Повѣсти и разсказы. 262 стран. Цѣна 1 руб.

Среди людей. Очерки и разсказы. 288 стран. Цѣна 1 руб.

Сьверцевъ, Г. Т. (Полиловъ).

Онѣ . . . . . Новеллы. 344 стр. Цѣна 1 руб.

Трудящіеся. Пов. 288 стр. Ц. 1 р.

Филипповъ, М. А.

Патріархъ Никонъ. Ист. ром. въ 2-хъ том. 812 стр. Ц. за 2 т. 1 р. 50 к.

Тютчевъ, Ѳ. Ѳ.

Бѣглецъ. Романъ изъ пограничной жизни. 340 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Ясинскій, І. І. (М. Бѣлинскій).

Тараканій бунтъ. Пов. 242 стр. Цѣна 1 руб.

Семидесятые годы. Повѣсти и разсказы. 3-е изд. 291 стран. Ц. 1 р.

Нежеланныя дѣти. Романъ въ 3-хъ частяхъ. 422 стр. Цѣна 60 к.

Этика обыденной жизни. *Независимаго.* 162 стр. Цѣна 1 руб.

Изданія П. П. Сойкина. — Спб., Невскій, № 96.

Сочиненія Вас. Ив. Немировича-Данченко.

ОТПЕЧАТАНЫ и ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:

Иду на васъ! 272 стр. Ц. 1 р.

Два дневника. Въ 3-хъ част. 428 стран. Цѣна 1 р. 50 к.

Облетѣвшіе листья. 456 стр. Цѣна 1 р. 50 к.

Залетный копчикъ. 256 стр. Цѣна 1 р.

Рубиновая брошка. 3-е изд. 276 стран. Цѣна 1 руб.

Сластеновскіе милліоны. 4-е изданіе. 414 стр. Цѣна 1 р. 50 к.

Ежовыя рукавицы. 2-е изд. 352 стран. Цѣна 1 р. 25 к.

Жертва покаянная. 2-е изд. 272 стран. Цѣна 1 руб.

Святочные разсказы. 3-е изд. 416 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Новь и Старь. 3-е изд. 394 стр. Цѣна 1 р. 50 к.

Великій старикъ. 2-е изд. 264 стран. Цѣна 1 р.

По закону. 3-е изд. 352 стр. Цѣна 1 р. 25 к.

Плевна и Шипка. Въ 2-хъ част., 4-е изд., 572 стр. Ц. 2 р. 50 к.

Королева въ лохмотьяхъ. 2-е изд. 240 стр. Ц. 1 р.

Контрабандисты. 2-е изданіе. 208 стр., цѣна 1 руб.

Родная темень. 340 стран. Цѣна 1 р. 25 к.

Подъ звонъ колоколовъ. 2-е изд. 296 стр. Ц. 1 руб.

Наши монастыри. Очерки и разсказы: Соловки. Женская обитель. Святыя горы. Валаамъ. 5-е изд. 578 стран. Цѣна 2 р. 50 к.

Волчья сыть. Ром. въ 3-хъ ч. 2-ое изд. 512 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Городской голова. Ром. 2-е изд. 256 стр. Ц. 1 руб.

По вѣтру. 3-е изд. 344 стр. Ц. 1 р. 25 к.

У океана. Жизнь на крайнемъ сѣверѣ. Въ 2-хъ томахъ. 5-е изд. Цѣна за 2 тома 756 стр. 2 р. 50 к.

Годъ войны. 3-е изд. Въ 3-хъ том. 1140 стран. Ц. 4 р. 50 к.

Подневольные странники. 2-е издан. 290 стр. Ц. 1 р.

Страна холода. Въ 2-хъ том. 684 стр. Ц. 3 р.

Голоса жизни. 2-е изд. 416 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Сказки дѣйствительности. 2-е изд., доп. 448 стр. Ц. 1 р. 50 к.

На далекомъ сѣверѣ. 192 стр. Цѣна 50 к.

Подъ горячимъ солнцемъ. 224 стр. Ц. 50 к.

Великая рѣка. 158 стр. Ц. 50 к.

У голубого моря. 158 стр. Ц. 50 к.

Скобелевъ. 368 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Болотные огни. Въ 2-хъ част. 4-е изд. 384 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Кама и Уралъ. Очерки и впечатлѣнія. 2-е изданіе. 634 стран. Цѣна 2 р. 50 к.

Забытая крѣпость. 2-е изд. Историч. ром. Т. I. Горные орлы. Т. II. Горе забытой крѣпости 760 стр. Цѣна за 2 т. 3 р.

Старыя письма. Романъ. 2-е изд. 304 стран. Цѣна 1 руб.

ПЕЧАТАЮТСЯ НОВЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ:

Бубны козыри. 3-е изд.
На бабьихъ хлѣбахъ.
Добрые люди. 6-е изд.
На первыхъ порахъ.
Миражи.
Просвѣтъ.
Незамѣтные герои.
Очерки Испаніи. 3-е изд.

Выписывающіе изданія П. П. Сойкина изъ его книжнаго магазина (СПБ., Невскій, 96. уг. Надеждинской), на сумму не менѣе одного рубля, за пересылку не платятъ, кромѣ тѣхъ изданій, за которыя пересылка показана особо.

Дозв. ценз. Спб., 13 октября 1904 г. Тип. П. П. Сойкина, Стремянная, 12.

ГПБ Русский фонд
38.42.6.29